РОВЕСНИК

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК ЦК ВЛКСМ И КОМИТЕТА МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

№ 3/83

Март

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1962 ГОДА

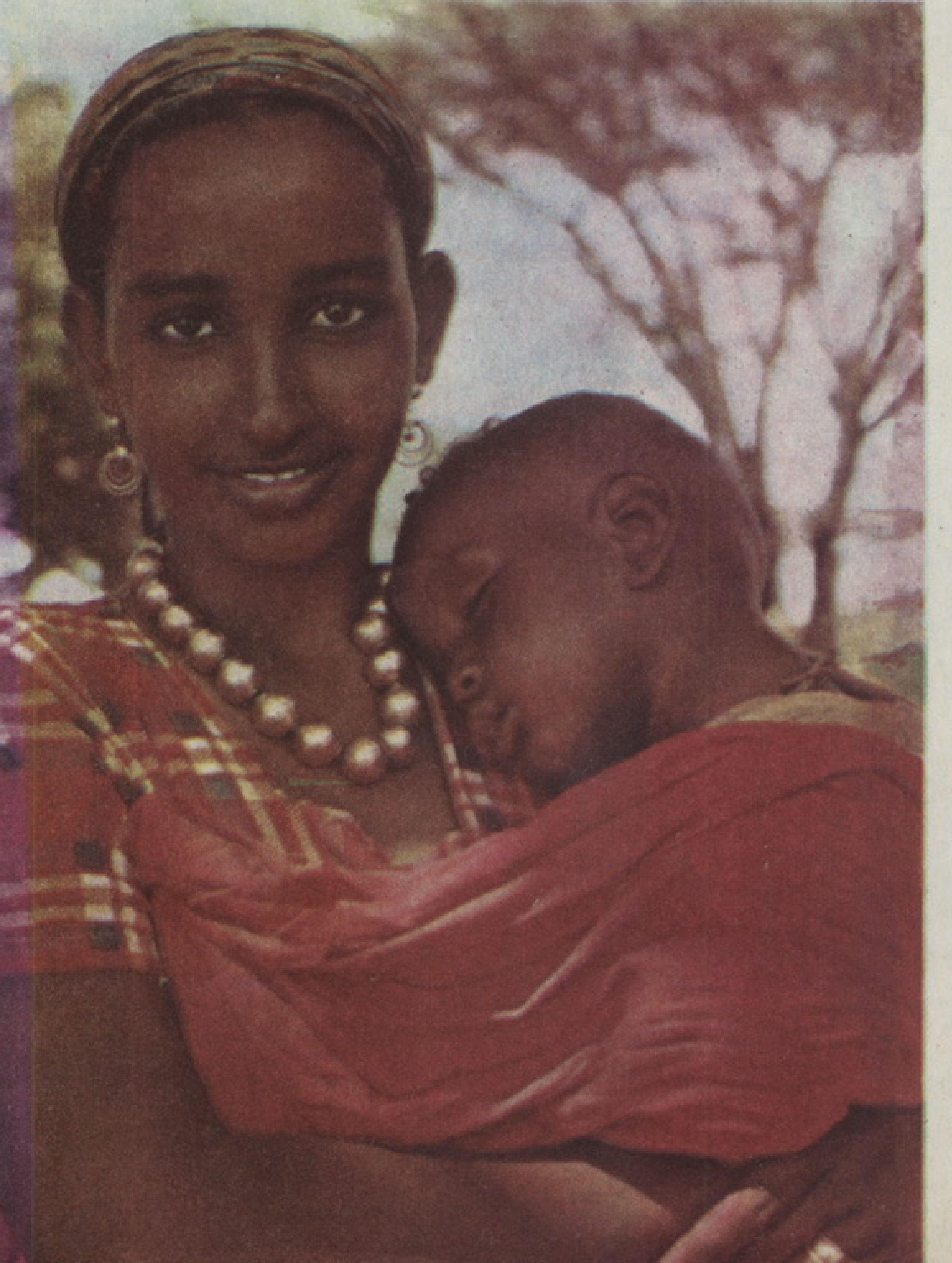
В НОМЕРЕ:

ЭТОТ НОМЕР ПОСВЯЩАЕТСЯ **МАТЕРИ.** ВАШИМ МАТЕРЯМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ



ISSN 0131—5994

На первой странице обложки: фото Р. РАКАУСКАСА



БЕРЕГИТЕ МАТЕРЕЙ, ДОРОЖИТЕ ИМИ, БУДЬТЕ К НИМ НЕЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ, СТАНЬТЕ ИХ ОПОРОЙ И СЛАВОЙ!

XIX съезд ВЛКСМ

[По часовой стрелке: Сомали, Гватемала, Куба, лагерь палестинских беженцев, СССР.]





«МЫ ВСЕГДА С ТОБОЙ, МАМА»



М. ШИШКИН

Раскаленные сковородки с плиты она берет просто руками. Такие у нее ладони, крепкие и шершавые, цвета обожженной глины.

С каменистых гребней Витоши — порывы свежего ветра. Сухими сморщенными пальцами с бугристыми прожилками она поправляет черный платок, который носит с тех пор, когда ее сын Констадин погиб на Балканской войне.

Поздним осенним утром, когда все еще не светает, потому что идет дождь, уже целую неделю, днем и вечером, и тутовое дерево под окном разбухло от сырости и тычется в окно, оставляя на стекле мокрые царапины, в ворота стучат сапогами.

Оторвавшись от щелки между занавесками, Георгий выхватывает из брюк пистолет и смотрит, сколько осталось патронов. Патроны рассыпаются по полу. Пока собирает их, не замечает, как в комнату входит мать.

— Скорее на чердак,— шепчет она и, отняв у сына пистолет, прячет его в карман среди широких складок юбки. Георгий быстро вскакивает на стул, открывает узкий люк в потолке и, одним движением выжавшись на руках, исчезает в темноте.

Неторопливо, кутаясь в шаль, она идет по дождю к воротам. Они вот-вот вылетят от ударов. Она долго возится у калитки. Господа полицейские должны немного подождать, потому что она стара и ей нелегко вытащить из земли тяжелый лом, который всегда подпирает калитку, если в доме она одна.

Дом заполняется запахом мокрых сапог. Чистые половики затаптываются грязью. Сырые, дымящиеся в теплоте дома мундиры рыщут из комнаты в комнату. Георгия ищут в сарае, в шкафу, под кроватями.

— А это что? — показывает старший полицейский на люк в потолке.

— Чердак, господин полицейский.— Она тащит за спинку старый стул и ставит его под люком. Полицейский с опаской залезает на него и приоткрывает дверцу на чердак. В темноте слышно, как капает вода. Старую крышу давно пора чинить.

— Ладно,— говорит полицейский,— тут один старый хлам.

Мать прислоняется к стене и стоит несколько мгновений, закрыв глаза. Полицейские роются в комоде, просматривают книги, обрывая каждой корешки, в поисках прокламаций. На кухню заходит квартальный.

— Я приготовила кофе, господин квартальный,— говорит она.— Выпейте чашечку. На улице холодно.

Тучный квартальный сопит, втягивая рыхлыми ноздрями крепкий аромат кофе.

— Не уберегла ты детей, Параскева,— качает он головой.— Наши дети играли вместе, а теперь они выросли,





На снимках: Параскева Димитрова; памятник матери Димитрова в селе Ковачевцы; Москва, 1934. Трудящиеся столицы встречают героя Лейпцига; Георгий Димитров с матерью и сестрой Магдаленой после вынесения оправдательного приговора в тюрьме гестапо в Берлине.

и мои ребята уже женились, работают, строют себе дома, народили детей. А твои? Никола в царской ссылке. Георгий из тюрьмы не вылезает. Младшие тоже совсем от рук отбились. Стыдись, Параскева, вы с Димитром всю жизнь не разгибая спины работали, а детей своих воспитать не смогли.

Полицейские уходят, скользя по мокрым голышам, которыми выложена дорожка в саду. С чердака слезает Георгий, замерзший и весь в паутине. Она долго плачет, уткнувшись сыну в плечо. Потом утирает передником слезы и принимается отмывать затоптанный сапогами пол.

Вечером она идет к себе в полуподвал. Маленькая уютная комнатка. Два окошка под низким потолком. В углу старый ткацкий станок. Прялка. Дерево, отполированное прикосновениями рук, похоже на воск.

Она опускается на цветной домашний коврик около старого сундучка, где хранятся письма детей.

Читать она не умеет, но ей так часто читали их вслух, что она знает все письма наизусть.

На маленьком столике фотография, полученная совсем недавно. Почтальон радостно махал над головой конвертом и кричал на всю улицу: «Параскеве Михайловой письмо из России!» Она разгладила на коленях исписанный неровным почерком листок. «Я ни о чем не жалею, хоть я ничего в жизни еще не узнал, кроме страдания. Но я считаю, что я счастлив, что страдаю за правду. Об одном прошу: утешай мою милую мать. Пусть она не плачет, а гордится мной...»

С фотографии смотрит изможденное лицо сына. Он лежит на дощатой кровати. Рядом с ним сидит худая женщина с двумя девочками. У детей настороженные испуганные лица.

Никола уехал в Россию в 1908 году. Работает в Одессе переплетчиком, становится большевиком. На собрания, где выступает Никола, часто приходит девушка Лиза. Потом, когда Николу выдает провокатор и после года тюрьмы когда его отправляют в ссылку в Сибирь, в Енисейскую губернию, вместе с ним едет Лиза.

Мать переворачивает фотографию. На обратной стороне те же неровные строчки, написанные рукой тяжелобольного: «Моей дорогой маме посылаю эту фотографию. Скоро мне придется проститься с этим миром. Как хочется хоть перед смертью тебя обнять. Тут ты увидишь моих детей и мою подругу. Мне очень хочется, чтобы они были с тобой».

Под самое рождество, в канун нового, 1917 года, во дворик на Ополченской снова заглядывает почтальон, радостно махая конвертом над головой и так же крича на всю улицу, что Параскеве Михайловой письмо из России.

Мать не кричит и не плачет. Она вся сжимается и, шаркая туфлями, спускается к себе.

На следующий день она выходит на кухню простоволосая, с изможденным серым лицом. Увидев ее, младшая, Еленка, чуть не вскрикнула — волосы матери за одну ночь покрылись белесыми полосами. Заметив взгляд дочери, Параскева касается волос ладонью и быстро уходит к себе. Через минуту она возвращается в своем черном, туго повязанном платке и, согнувшись над тазом, берется за стирку.

Третий год войны. Будто она всегда шла и уже никогда не кончится.

Голод. Норма хлеба на человека — 200 граммов. Все способные носить оружие мужчины мобилизованы. Зерно, скот в деревнях реквизируется и увозится в Германию. Только за один год от голода и болезней в Болгарии умирает 182 тысячи человек — это больше всех потерь болгарской армии за всю войну.

В самом начале марта Георгий прибегает домой, радостный и счастливый, разбудив всех среди ночи. В России революция. На фронте русские братаются с болгарами.

С утра до ночи Георгий пропадает на митингах и собраниях, разъезжает по всей стране. На улице его избивают подкупленные хулиганы. На одном митинге в него стреляют.

Ночь. Тодорчо и Еленка спят. Мать поднимается наверх, где еще горит свет в комнате, заставленной полками с книгами.

— Ты опять пишешь ночью.— Придерживая края накинутого на плечи платка, она садится на край стула у окна.— Разве тебе не хватает дня?

— Я должен завтра выступать на митинге,— Георгий ставит у ног матери маленькую скамеечку и утыкается головой в ее колени. Как когда-то в детстве. И как в детстве, ее руки перебирают его спутавшиеся волосы.

— Ты пропадаешь целый день,— неслышно шепчут руки,— а потом приходишь ночью и садишься за работу. Точно ты живешь у чужих. Я готовлю тебе еду, но она стынет и становится невкусной. Я не знаю, что происходит, но вы все уходите от меня. С Димитром, твоим отцом, мы строили этот дом большим, чтобы он всегда был полон и чтобы всем, всем хватило места. Я родила восемь детей. И все вы уходите от меня. Старшие выросли и ушли, теперь у них свои семьи. Констадин погиб на войне. Никола в царской ссылке. В тебя уже стреляли. Мир полон злых людей, сынок. Они хотят убить и тебя. А Тодорчо и Еленка? Они читают твои книжки, ходят на твои собрания. Тодорчо во всем берет пример с тебя, но он совсем другой, у него слишком мягкое сердце. Они совсем еще дети, и я боюсь за них. Счастье матери в том, чтобы ее дети жили. Я прошу тебя, поговори с Тодорчо, чтобы он не шел с вами. Вы все уходите, и я остаюсь одна. Счастье матери в том, чтобы ее дети жили. Я боюсь остаться одна.

Его волосы густые и упрямые.

— Людей нельзя уговорить любить или ненавидеть, мама. А за Тодорчо не бойся. Что бы ни случилось, он всегда будет с тобой. И я. И Констадин. И Никола. Мы всегда с тобой, мама.

Потом, спускаясь к себе, она останавливается в дверях.

— У Николы осталась в Сибири жена и дочки. Нам надо пригласить их в Болгарию и послать им денег на дорогу. Лиза будет где-нибудь работать. У меня хватит сил ухаживать за внучками.

Утром, когда все уже ушли, она подметает дворик самодельным веником из прутьев. Потом достает из сундука широкую шерстяную юбку и кофту, которую надевает только на праздники, когда ходит в церковь. Она запирает калитку и кладет ключ на условленное место за отставшую доску над дверью. Она не берет с собой кошелку и с непривычки не знает, куда деть руки. У Ловова моста она сворачивает на улицу Марии-Луизы. Здесь начинаются богатые кварталы города. У храма Святы Крол она останавливается. Сюда она приходила просить, чтобы ее дети вернулись к ней. Бог добрый и хочет помочь, но они не слушают его.

Она пересекает шумную улицу и идет к улочке, где стоит народный дом. Двор переполнен. Рабочие тужурки, пиджаки, помятые кепки, соломенные шляпы. Затаив дыхание, все слушают, что говорит Георгий. Она хочет пробиться вперед, но люди стоят плотно. «Куда ты, старая,— слышит она чей-то шепот.— Уходи, нагрянет полиция, тебя задавят!» Георгия еле слышно отсюда, за высокими спинами ничего не видно, и она смотрит, как слушают его разгоряченные, тяжело дышащие на жаре люди, как боятся пропустить хоть одно слово. Она вытирает рукой капли пота со лба. Потом, когда все долго хлопают в ладоши и что-то кричат, Георгий вдруг оказывается рядом и крепко обнимает ее.

— Как хорошо, что ты пришла к нам, мама!

Ранним июньским утром 1923 года она просыпается от выстрелов на улице. Георгий, наскоро одевшись, убегает в комитет партии. Она даже не успевает приготовить ему кофе.

Военный переворот. Домой Георгий больше не возвращается. Он живет на конспиративной квартире.

Коммунистическая партия назначает начало восстания на конец сентября 1923 года. За 10 дней до установленного срока по всей стране начинаются массовые аресты коммунистов. Полиция захватывает народный дом у Ловова моста, все районные клубы партии. По дороге на рынок Параскева видит объявления, развешанные на заборах. Она подходит и прислушивается к тому, что шепчут губы читающих. Голова Георгия оценена в 100 тысяч левов.

Когда вечером она случайно встречает его на Гробарской, приходится остановиться, прислонившись к кирпичной стене — так бьется сердце и подкашиваются ноги. Георгий идет в темных очках, постукивая палкой. Его сопровождает незнакомая женщина. Улица пустынна. Мать бросается к нему, но Георгий делает вид, что не знает ее. Из-за угла показывается патруль. Мать, подвязав крепче платок на голове, спешит уйти, стараясь не оглядываться. Это их последняя встреча в Болгарии.

Утром 21 сентября члены штаба восстания во главе с Коларовым и Димитровым выезжают на автомобиле из Софии под видом инженеров с мерными линейками, привязанными к бортам машины. Восставшие штурмом берут город Фердинанд и объявляют в северо-западной Болгарии Советскую власть.

Десять дней продолжаются кровопролитные бои с правительственными войсками и белогвардейскими частями Врангеля, нашедшими прибежище в Болгарии. Разбитые повстанцы отступают в горы и переходят сербскую границу.

О Георгии долго нет никаких известий. Мать собирается ехать сама туда, где в общие могилы солдаты сваливают 20 тысяч погибших повстанцев. Тодорчо силой не пускает ее. Вскоре становится известно, что Георгий в безопасности. Он в Югославии. Потом в Вене. Едет в Советский Союз.

В Болгарии он заочно приговорен к смерти.

На минутку забегает Тодорчо. Пока она готовит ему кофе, он засыпает. Она вешает брошенный пиджак на спинку стула. Пиджак тяжелый. В одном кармане револьвер. В другом бомба и пачка прокламаций.

Прокламации и деньги в помощь семьям арестованных она разносит сама. Она прячет их в карманы юбки и идет по адресам, указанным Тодорчо. Она берет на себя часть опасностей, которым подвергается сын. Если нельзя спасти его иначе, то так.

Тодорчо, вскрикнув, просыпается и, увидев, что проспал целых двадцать минут, натягивая на ходу пиджак, убегает.

— А как же кофе,— кричит вдогонку мать.— Тодорчо, выпей хоть кофе.

— Потом! — кричит он уже из дворика.— Потом!

На конспиративной квартире Тодорчо уже ждет полиция. Он отстреливается. Хочет взорвать себя, но взрыватель самодельной бомбы не срабатывает.

Кофе в чашке давно остыл. Подушка еще смята его головой.

Залитая солнцем площадь перед тюрьмой. Черный платок так нагрелся, что вот-вот вспыхнет. Перед глазами все плывет, то ли от жары, то ли от слез. Стоять больше нет сил, и, если бы не Натка, жена Тодорчо, мать давно бы упала. В окне за решеткой его маленькая головка. Он машет рукой, чтобы они уходили. Натка пытается увести Параскеву, но она все стоит и смотрит на маленькую головку и руку, что машет из-за решетки.

Тодорчо пытают. Из тюрьмы чудом доходит записка.

«Мама, очень хочу жить для тебя и моей Натки, но нет сил выдерживать больше».

В морге, куда приносят его труп, санитар, снимавший с него ботинки, читает на подкладке слова, написанные кровью:

«Умираю, но никого не выдал...»

В доме, кроме нее, никого. Иногда кажется, что кто-то спускается по лестнице. Или слышны голоса наверху. Или что стукнула калитка, и кто-то идет по гальке дорожки. Тогда она вздрагивает и прислушивается.

Все они далеко. В доме теперь живет прошлое.

Когда она была девочкой, попугай старого шарманщика на базаре вытащил ей за монетку маленький листок бумаги. Шарманщик сказал ей, что там написано счастье. А что такое счастье, спросила она. «Счастье,— сказал шарманщик,— это когда ты вырастешь и станешь самой красивой девушкой, и на тебе женится принц, у вас будет много детей, и вы будете жить в огромном дворце, и никогда не умрете». Потом, когда началась турецко-болгарская резня, и они все куда-то бежали, она видела, как шарманщик лежал в пыли на площади, и попугай перебирал клювом рассыпавшиеся бумажки.

Потом был хоро. Девушки и парни танцевали хоро. Она тоже встала в круг, положив руки на плечи соседям. Около нее танцевал высокий сильный парень и все время заглядывал ей в глаза. Ей стало стыдно, и она убежала. Потом он пришел к отцу свататься. Она заплакала. Ей стало жаль хоро.

Они были молодые и сильные. Жизнь была тяжелая, и они работали от зари до зари. Своего первенца, Георгия, она родила прямо в поле.

Потом они переехали в Софию, построили этот дом и посадили виноградную лозу, чтобы она принесла их дому счастье. Но вместо счастья была нужда. Тяжелая работа подорвала здоровье Димитра, и после недолгой болезни он умер.

Она хотела, чтобы ее старший сын, Георгий, стал священником.

Денег на учение не было, и 12-летнего она отвела его в типографию. Потом всю ночь проплакала. А однажды он выпустил вместе с друзьями газету, где высмеивался за пьянство священник. Она еле уговорила того не подавать в суд. «Зачем ты задираешь людей? — спросила она сына.— Нам и так нелегко живется».— «Но ведь я напечатал про него правду»,— ответил он.

Его комната стала наполняться книжками. Ничему хорошему они его не научат, подумала она тогда, увидев, как он подкладывает себе в постель гвозди. Но гвозди быстро исчезли, а книг становилось все больше.

Когда Георгий нашел себе невесту, скромную, красивую Любу, мать мечтала о том, как будет играть на улице маленький оркестрик — аккордеон, флейта, скрипка, и как будут плясать прямо на мостовой гости, встречая жениха и невесту. По старинному обычаю она принесет большой каравай пшеничного хлеба и отрежет от него по кусочку всем, а невеста с подносом, на котором стоят две рюмки ракии, станет обходить гостей...

В большом доме, кроме нее, никого. Только иногда кажется, что кто-то спускается по лестнице, или слышны голоса наверху. Тогда она выходит во дворик и подметает переспелые ягоды шелковицы, нападавшие в пыль.

27 февраля 1932 года в 20 часов 20 минут в подземный ход, соединяющий дом Геринга с рейхстагом, спускаются трое. Два дня назад они доставили в подземелье коробки с самовозгорающимся фосфором и бидон с керосином. Но не подожгли. Обергруппенфюрер Карл Эрнст, которому поручен поджог, отложил операцию. Геббельс обратил внимание Геринга и Гитлера на то, что 25 февраля — суббота. В воскресенье выходят только утренние газеты. Настоящей сенсации не получится.

Когда мерные шаги служителя рейхстага, совершающего ночной обход, затихают в отдалении, штурмовики подхватывают коробки с фосфором и оказываются в зале заседаний рейхстага. Один из них возвращается за оставшимся зажигательным материалом. Тем временем Эрнст и его помощник обливают шторы и ковры бензином и обмазывают столы и стулья самовоспламеняющимся фосфором. Работают быстро и молча. В 21 час 05 минут никем не замеченные, тем же путем они удаляются в дом Геринга.

Карл Эрнст выполнил свое задание. 30 июня 1934 года его убивают.

Ей семьдесят два. Она едет в Германию. Потому что ее сын не вор, не убийца и не поджигатель.

Германское правительство визы не дает. В конце октября через французское посольство удается достать визу на въезд во Францию. С ней едет дочь Магдалена.

Рабочие собирают им на поездку деньги.

Самое трудное — целый день сидеть у окна, сложив руки и ничего не делая. Впервые за целую жизнь. Вагон качает из стороны в сторону, стук колес больно отдается в ушах. В Берне идет дождь. У промокшего мальчика на платформе купили свежие газеты с отчетами о процессе. У купе все время толпятся любопытные. Сосед напротив, сложив газеты, предлагает конфетки и, ухмыляясь, что-то спрашивает. «Не стыдно ли ей, что сын в тюрьме?» — переводит Магдалена. «Нет, не стыдно,— отвечает мать.— Я горжусь им».

В Париже ее привозят в огромный зал Бюлье, переполненный парижскими рабочими. Она стоит на сцене, потерянная и маленькая, ничего не видя в ярком свете ламп. К ней подходит переводчик:

— Бабушка, ты должна что-нибудь сказать.

Она нетвердыми шагами подходит к краю сцены. Смотрит на лица в первых рядах. Незнакомые люди улыбаются ей.

— Поверьте мне,— раздается в тишине зала ее слабый голос.— Поверьте мне, я знаю его, ведь я его мать, он не такой человек, чтобы устраивать поджоги... Он всю жизнь был с рабочими...

В ушах нестерпимо колотит, будто все еще стучат колеса поезда, и зал затягивается пеленой, как мутное стекло. Она плачет.

Тысячи парижан, стоя, долго, до боли в ладонях, аплодируют ей.

На следующий день с Северного вокзала она отправляется в Германию.

В зале сто двадцать четыре аккредитованных журналиста, восемьдесят два из них — иностранных. Судебное следствие стенографируется. Все время ведется звукозапись. В разных концах зала кинокамеры.

Следствие ведется на немецком, и она ничего не понимает: ни что говорят судьи, ни что отвечает сам Георгий. Она просто сидит и смотрит, как выходит тучный человек в мундире и что-то говорит, громко и обрывисто, будто выплевывает слова. Георгий о чем-то спрашивает его, подчеркнуто вежливо и холодно. Председатель суда сидит в напряженной позе, готовый в любую минуту вскочить и прервать его. Георгий говорит, опершись руками на стол, гневно глядя прямо в лицо с обвисшими щеками и обрубленным подбородком. Оно становится багровым, глаза округляются. Подняв короткие руки со сжатыми кулаками, тучный в мундире злобно кричит. Выпрямившись, Георгий громко говорит на весь зал, указывая пальцем на толстого человека перед ним, который задыхается, глотая слюну, и не находит, что сказать в ответ. Председатель приходит на помощь, колотит по столу томом обвинительного заключения и визгливо кричит. Полицейские, схватив Георгия за руки, силой усаживают его на стул. Он вырывает руки и, тяжело дыша, загребает пальцами волосы, откидывая их назад. Толстый человек в мундире, отдышавшись, захватывает побольше воздуха в легкие и издает новый взрыв дребезжащего режущего крика. У него изо рта брызжет слюна и вспыхивает в ярком свете прожекторов, будто он выбрасывает снопы искр.

Полицейские хватают Георгия и, с трудом преодолевая сопротивление, волокут его к выходу.

В перерыве ее и Магдалену приводят в огромную пустую комнату. Глаза медленно привыкают к полумраку. Высокий худощавый немецкий чиновник жует в стороне бутерброд.

Приводят Георгия. Когда он обнимает мать, его руки дрожат. За год тюрьмы он ослабел.

— Ты похудел.— Она проводит рукой по его седеющим волосам.— Отчего рукава рваные?

— Это от кандалов,— отмахивается он.

Они стоят и молчат. Так много она хотела сказать ему, а теперь они стоят и молчат. За эти десять лет он изменился, стал каким-то чужим.

Георгий берет ее старческую потрескавшуюся руку и целует ее.

Нет, он совсем такой же.

— Я старая и глупая,— говорит она,— я ничего не понимаю, что вы там все говорите. Но я знаю, что все будет хорошо.— Она прижимает к себе его большую голову.— Вот увидишь, все будет хорошо.

Ночью проходит первый майский дождь, и на мраморных ступенях лужицы. Георгий помогает матери подняться по крутым ступенькам Мавзолея. Небо над Красной площадью синее и огромное. Свежий утренний ветер ударяет в лицо. Сухие пальцы прячут выбившуюся прядь под платок. Она маленькая, и за высоким парапетом ничего не видно. Она тянется на носочки. От красок, цветов, флагов, от ярких солнечных бликов, сверкающих в трубах оркестра, у нее кружится голова, и она вдруг чувствует, как ее поддерживает рука сына, крепкая и нежная.

ПРОСТИ



Нина ЧУГУНОВА

...И даже Тойчибой, первый из сыновей Матери, тот, что умеет работать так, как (это слова Матери) работали люди в тридцатые годы, когда все, словно изголодавшись по работе, навалились на работу, тот, что видел войну такой, какой ее представила ему жизнь, Тойчибой, возможно, лучший из сыновей, потому что дольше всех шел с Матерью рядом, не знает почему, но знает наверное, что это были лучшие годы в его жизни. Всего же их было — сыновей и дочерей — у Матери тридцать два. Вырастая, они уходили. Каждый тянулся веткой из дома.

...Однажды перед зимой в День плова, в холодный вечер и в темный вечер Мать взялась их пересчитывать — и не смогла. Первых детей хорошо помнила и военных детей, как кто был найден и какое время стояло на дворе. Мать, конечно, помнила всех, но лучше помнила тех, кто достался ей в трудные годы.

...Один из внуков, выросший в ее доме как сын, Атхам хорошо помнит, как играл в раннем детстве милицейскими погонами Матери. Также он помнит ее рассказ про бой в кишлаке Косатарош. Из армии он писал ей.

Замуж Мать отдали десяти лет в кишлаке Йори. Это время Мать хотела потом забыть вместе со всем, что было в нем: тридцатилетнего Мир Аотолло, человека, взявшего за себя сироту, и то, как несчастный Мир Аотолло, опозоренный бегством девочки-жены, пустился за ней в погоню и нашел в Пенджикенте, но не убил, а просил вернуться — бесстыжую, без покрывала, с глупым и ясным лицом, а она упиралась как помешанная до тех пор, пока Мир Аотолло не плюнул перед ней в землю и не возвратился ни с чем.

В те дни страшные люди Хомид-бека появились на окраинах Пенджикента. Стало опасно ходить через перевал. Земля сделалась каменной и не принимала воды: вода стояла в ней, как масло.

Мать взял к себе высокопоставленный и честный человек, дальний родственник по фамилии Алимов. Алимов, неустанно совершенствовавшийся в борьбе с пережитками, ко времени, когда взял Мать на воспитание, еще не уничтожил в себе главного пережитка — существования двух жен на него одного. Он привел Мать к женам. Старшая ничего не сказала, зато младшая жена, любившая Алимова до корчи, закричала на него:

— Что мне привел? Зачем мне этот дардисар привел?

Что означало: «Зачем мне эта головоболь?»

Мать вышла на улицу, потому что Алимов молчал. По улице мимо Матери прогарцевал первый милиционер Пенджикента. Мать схватила милиционера за стремя и похвалила коня. Она хотела быть милиционером и не хотела

быть лучшей женой Алимова. Милиционер в ответ рассмеялся.

— Не для девушки наше дело! — как эхо, закричал сверху своего гигантского коня милиционер Пенджикента, изумленный такой фантазией.

— Басмачи везде, сволочи,— сказал он ей, перевесившись с седла и выпрямляясь со свистящей гибкостью.

И он улыбался смертельной улыбкой.

Потом Мать видела басмача Хомид-бека. Она стреляла в него, и он ушел. В жизни он носил белый шелковый дорогой и грязный чапан. В этом белом чапане, свежий и плотный, как плод инжира, Хомид-бек появился в Йори и засел у родственника Мирзокомбара и стал есть баранью печенку в гостевом, завешанном сюзане, пышном доме Мирзокомбара. Тогда робкие жители Йори побежали в горы, чтобы так пережить гулянку Хомид-бека, а сам он и сто его людей долго сидели в Йори, где остались несколько старых женщин и детей, которых йорийцы забыли взять, говоря потом, что благородный Хомид-бек ведь не станет их резать. Мать видела Хомид-бека потом, когда в ночной схватке он ушел, скрывшись в ночь, как ящерица в камни, а Мать сбросил упавший конь.

Но это было гораздо позже, а пока гарцующий милиционер бросил взвизгнувшую от высоты Мать поперек седла и повез в милицию.

(В детстве, которое последовало после бегства из Йори, Мать сильно напоминала теперешнего Холикберды, ее последнего и, возможно, счастливейшего сына. Она радостно провела детство. В детстве она видела лишь желтую дорогу и желтый от кишлачной и городской пыли сапог на правой ноге милиционера, и свои черные косы, зацепившиеся за стремя. Ее детство продолжалось не более десяти минут, так как милиция находилась недалеко от дома Алимова, но Мать запомнила его навсегда.)

— Сами воспитаем,— сказал начальник милиции Акоп, выслушав милиционерову речь про угнетенную женщину Востока, с плачем просившуюся в новую жизнь.

Акоп вышел из-за стола, перепоясанный ремнями, как подпруженный конь, и сел перед Матерью на корточки.

— Кому ты нужна, худоба? — спросил он Мать.

Он думал о том, что надо из шинели выкроить и шинель, и еще что-нибудь теплое, девичье. «Только стрелять ее надо научить,— еще думал Акоп,— да научится, они сейчас, как мальчишки, быстрые и любопытные к ружьям».

Шинель перешила старшая жена Алимова, прячась под покрывалом от глаз младшей жены, злобной, как насекомое гунда с ядом в брюшке. Младшая жена мазала веки сурьмой для сверкания глаз. Это сверкание продолжалось, пока Алимову не хватало воли.

Последний басмач сложил голову на окраине Пенджикента.

Мать долго носила две одежды, как никто не делал в Йори. В женской одежде она однажды повстречала отряд людей, кажется, Кури Хамро, косого Хамро. Они что-то закладывали камнями. Мать подошла ближе, перебросив узел с милицейской одеждой на другую сторону коня.

— Держите ее,— придумал Кури Хамро, хитрый от своего одноглазия.— Может, еще одна показательная женщина взялась.

— Это сенджабова дочка,— соврал кто-то из его людей по глупости или зная любовь косого к мучениям женщин. Но Мать не узнал никто.

Когда они уехали, сделав свое дело, Мать разобрала камни и в избитом и недышавшем человеке под камнями узнала Зульфию из Магияна, переставшую носить паранджу. Мать повезла спасать Зульфию, и тогда она плакала первый раз, а после не плакала даже над болезнями детей. Она обещала богу, которого немного знала, свою смерть за жизнь Зульфии. «Но пусть умрет и Кури Хамро».

И Кури Хамро, и Ибрагим-бек, и Кури Ишмат — все они закончили свою жизнь пулями, выкатившимися из горла! Младшая жена Алимова становилась белей его снежных галифе, когда Мать приходила в гости и брала из ее рук пиалу твердыми короткими пальцами или откашливалась на пороге. Мать не спала сутками. Губы ее были каменными. Ночами Мать стала работать в пекарне, а днем она либо стояла на посту, либо — потому что время наступило спокойное — шла в недавно образовавшуюся МТС к механику Аникину и смотрела на два красных трактора, марки ЧТЗ и ХТЗ, стоявшие у Аникина под рукой.

— Пришла, милиционерка? — говорил Аникин, не оглядываясь на нее. И пел. Он был русский, смутный от своей доброты. Он учил Мать знанию трактора почти так же наглядно и просто, как Акоп учил ее стрелять. И так же легко Мать схватывала новое знание. Певун обещал ей, что к пахоте она поведет трактор сама. Так это и сбылось.

В то время люди часто умирали. «Это же у тебя, в Йори»,— сказали они ей про недавний случай сиротства. Мать сидела на ящике в фартуке, обсыпанном румяной пылью с лепешек. Ноги ее в сапогах не доставали до земли.

— Пусть везут ко мне,— сказала она женщинам про сироту.

Через день кто-то из йорийцев привез в дом Матери незакутанного ребенка и оставил на пороге, уехал, не войдя в дом.

— Ты Тойчи,— сказала ему Мать, поднимая его непривычно.— Ты сын праздника. Жди свой той.

Тойчи уходил на фронт в сорок четвертом. Он стоял со всеми, кто уходил на этот раз, у нынешней музыкальной школы, а тогда это был военкомат. На нем были хромовые сапоги, гордость Матери и даже гордость колхоза. Сапоги выглядели на его ногах как два ведра. Пенджикентский чистильщик, алгун, начистил их ваксой, которую будто бы купил в другой стране. Запах ваксы чувствовался у военкомата. Человек, говоривший перед ними, тоже чувствовал этот запах, но считал его похожим на пороховой. Прежний призыв был уже наполовину убит на фронте. Человек этот и раньше забирал пенджикентских в армию. Тойчи Худойбердыев, не слушая, смотрел на свой дом.

Мысленно он просил Мать сейчас прийти. Он не осмелился попросить ее об этом. Она оставила ему утром вещмешок. Там были положены орехи, кишмиш, лепешки маленького размера — все, кроме главной лепешки, которую он должен был взять перед дорогой из рук Матери и, откусив, вернуть ей, чтобы она повесила лепешку на стену дожидаться его с войны. Это обычай. Мать забыла его и ушла на дежурство, лишь приготовила вещмешок и посидела рядом с ним сонным и ему, сонному, сказала, что он — ее лучший сын. Не Шариф, не Анатолий, не Хошвакт, а Тойчи. Тойчибой лучший из сыновей. Мысленно он умолял ее сделать, как все другие матери. Было бы лучше, если бы она причитала здесь со всеми. Она продала женское платье, чтобы положить в его мешок кишмиш, и не может прибежать хотя бы в последнюю минуту и показать ему лицо в слезах. Он никогда не видел, чтобы она плакала. Мысленно он просил ее о слезах. Рядом с ним сам плакал двадцать шестого года рождения Нобоев Нарым. Тут все построились и бодро пошли, потому что был сорок четвертый год и потому что таково свойство людей — вместе им весело и помирать. Он понял, что уже никогда не увидит ее слез.

В эту минуту кто-то отделился от края улицы со стороны дома и продолжал бежать изо всех сил в тяжелых кирзовых, видимо, сапогах, спотыкаясь не по-мужски, размахивая чем-то круглым. Никогда Тойчибой, лучший из сыновей, так не любил Мать. Он остался жив, он вернулся потом и обнял ее, и выстроил дом, чтобы в нем росли дети, как в волшебном саду, и Мать освятила дом похвалой. Но сильнее, чем в эту минуту...

Он хотел подбежать к ней и помочь ей — бежать за строем вдвоем, но побоялся ведущего строй. Тойчи хотел, чтобы она ткнулась в его спину лбом на бегу, потому что никого так не любил, и навсегда простил ее за то, что она такая, какой хочет быть. В спину ему ткнулся горячий мокрый лоб. Целую вечность он улыбался, стоя в волшебном саду.

— Держи,— сказал ему брат Шариф, запыхавшись от бега.— Мать, конечно, забыла.

Машин в Пенджикенте давно не было, машины были на фронте, поэтому

Тойчи пошел на фронт пешком до Самарканда. Расстояние до Самарканда шестьдесят восемь километров. Тойчи шел, оставляя справа горы. Хромовые сапоги сделались наполовину желтые. Он прекрасно, как Мать, умел надевать портянки. В кишлаке Богиз Ага в чайхане ночевали. На следующий день пили чай в пенджикентском сарае. В Самарканде получили баню, и на рынке Тойчи продал торговцу сапожным кремом сапоги. Дальше он пошел в портянках, потому что все получали в этот день сапоги. «К черту!» — сказал он, прощаясь с сапогами. «Победим!» — сказал он, надевая новые простые сапоги. Любовь Матери к короткому слову проснулась в нем.

Он не знал, что победа уже совершалась прямо в его жизни, не знал, что ему не приведется сделать ни одного выстрела по врагу. Кто-то погиб, и пришла Победа. Кто-то последний погиб, и пришла Победа. Кто-то погиб еще тогда, когда у военкомата стоял Тойчи. Кто-то уже тогда, живой, должен был погибнуть.

Детей помогла Матери спасти в войну соседка Раиса, директор пекарни. Перед уходом на фронт Раиса, прямая и веселая женщина в одном и том же мужском пиджаке на протяжении всего времени, пока Мать ее знала, пришла к Матери в дом, чтобы проститься. Она хотела выпить немного водки, чтобы от этого заплакать. Она сказала Матери, что не может заплатить ей за работу в последнее время деньгами, но что работала Мать в пекарне много, и поэтому она просит Мать принять вместо денег муку. Мать ахнула. Шесть мешков муки, именно столько, сколько по деньгам заработала Мать, были ссыпаны в большой сундук. Мать поставила лепешки, но Раиса есть не стала, говоря, что от работы на хлебе отвыкла от него, но это была неправда, потому что Раиса хлеба не видела. Раиса сидела долго и смотрела на сыновей Матери и хотела, чтобы Мать рассказала про каждого его историю, на что мать молчала и потом обняла ее, и Раиса заплакала у Матери на плече оттого, что оставляет пустой дом. «Погуляйте»,— сказала Мать Шарифу и младшим. Они все вышли, оставив мать с плачущей, и сели под тутовником смотреть на небо.

— Прости, апа,— сказала Раиса, которая была старше Матери, но назвала ее так, прощаясь. Она прошла мимо детей на толстых каблуках. Мать никогда не видела туфли на ногах Раисы.

Раиса пропала на фронте.

...Тойчи видел, хотя и не на своей Родине, как может расцветать жизнь понемногу. Он любил немецкую девушку и новую жизнь, начинающуюся на ее родине. Он предполагал, что может еще дольше любить все это. Он жил тем, что видел, и служба его после Победы шла легко. Он не думал об отъезде, хотя знал, что он предстоит. Он не признавался себе, что хотел бы затянуть его надолго.

...пока Мать не позвала его.

Он понял, что она зовет его, по той тяге, которая вдруг возникла в нем к дому. Он вспомнил до мелочей ступеньку, перекрывающую канаву арыка для того, чтобы удобно было переходить к дому. Тяга была такая сильная, будто из него тянулась душа. Он вспомнил старые деревья перед кинотеатром, с которых он с друзьями и братьями смотрел все кинокартины, привозимые в город, и захотел залезть на них, будто был еще маленьким. Он захотел открыть калитку. Горячие уголья, которыми согревают ноги зимой, звали его. Он получил демобилизационные документы и сел в поезд, который через Польшу должен был прийти немедленно в Пенджикент.

На стоянках в различных кишлаках нашей страны, увидев Тойчи, сидевшего на краю вагона, люди бежали к нему и просили остаться с ними, чтобы работать и жить.

— Мужиков поубивало,— говорили ему девушки и улыбались ему как брату.

Но Тойчи качал головой, и девушки отходили от вагона, глядя на него непонятными глазами, от которых Тойчи хотелось спрыгнуть и бежать к ним, чтобы обнять их и прекратить слезы, и дальше он ехал как завороженный, чтобы довезти себя домой, как велела Мать, звавшая его всеми силами, как он чувствовал.

— Иду,— говорил он тихо в вагоне, чтобы успокоить ее.

В Самарканде он встал в кузов полуторки и пятнадцатого августа прибыл по назначению домой.

— ...Апа,— сказала тогда Раиса прямо из калитки, обернувшись, выходит, перед смертью,— который-то твой?

— Все мои,— тихо сказала Мать, посмотрев на детей под тутовником и увидев, что глаза у них как звездочки.

— Нет,— сказала Раиса,— твой один, йорийский.

— И Хошвакт йорийский,— упрямо сказала Мать,— и Тойчи мой — из Йори.

— Скажи мне,— просила ее Раиса.— Где же твоя доброта сейчас? Эх ты, святая. Может, и видимся-то...

— Прости меня,— сказала Мать.

— Ты прости, апа,— сказала Раиса и прошла мимо детей на каблуках. Дети слышали только прощанье.

«Вспомни,— могла ей сказать Раиса то, что знала от других,— как в Йори тебя запер твой однокишлачник Усто Шариф. Он подошел к тебе, когда ты сменилась с поста у зерносклада, и позвал на той. Ты поверила, что люди Йори тебя зовут, и пошла за Усто Шарифом, а он запер тебя и закричал тебе через узкое окошко, сквозь которое нельзя было просунуть и ягненка, что сейчас приведет людей судить тебя. Это было перед самой войной, да? Ты помнишь, как, ободрав кожу на плече, ты вылезла через узкое окно в сарае, потому что ты прекрасно знала, что за люди могли прийти судить тебя, и знала, каков их суд? Быстро, наверное, зажило твое плечо! Спасаться ты побежала? Ты побежала л ю д е й предупредить об Усто Шарифе. Вот какая ты, и такие будут дети твои, растущие под тутовником».

«...И дети мои такие будут и скажут, что они все из Йори, как и я. Лишь бы Тойчибой пришел».

— Да вернется твой Праздничный! — крикнула Раиса с улицы.

Буринисо из Йори было один день, когда из Йори примчался в Пенджикент всадник и сказал Матери, что смерть отняла у Буринисо родную мать. Мать вскочила на коня и взяла, спасла Буринисо в тот же день, успев раньше государственных организаций.

Она и была, как она считала, такой организацией с полномочиями Советской власти спасать и выкармливать. Такой была вся ее жизнь с ее рождения, произошедшего у дома Алимова, когда черные мальчишеские пятки Матери сверкнули на солнце под радостный визг Матери, брошенной поперек седла.

Таков всегда был ее дом, где в сарае долго стояла синяя вороная лошадь,— тревожный в тревожное время и светлый в светлое и находившийся в опасности, когда опасность грозила Власти. За Тойчи шел Шариф, а потом единственный сын Матери по крови, а потом остальные, «военные» и «мирные» дети, родом из Йори и из Пенджикента, из Сталинабада и кишлаков и потерявшиеся в эшелонах и найденные на базаре, забывшие, откуда они родом. Всего детей, по подсчету Матери, было тридцать два человека вместе с Холикберды, который, возможно, последний...

Вырастая, они уходили.

Если кто-нибудь,— а такие люди всегда находились, любители пустого слова,— посмел бы в лицо Матери сказать:

— Остановись, об этих детях теперь позаботится Советская власть,— то мать ответила бы им:

— Покажите мне человека, который будет теперь воспитывать моих детей.

Так понимала она жизнь, что Власть—

на стр. 13 ▶



«ЭТО... ПОКА Я ЖИВУ!»

Юсеф Абу НИЗАР

Мою мать зовут Фатима, и она жива еще. Фатима распространенное имя, и однажды, почти не размышляя над этим, я понял, что распространенность такого имени объясняется просто: ФАТИМА была дочь пророка. Желая добра ребенку, родители называли новорожденную девочку так, чтобы ее будущее достоинство, характер и честь не были задеты, поколеблены и замараны.

Второе, что я хочу сказать о ее имени, это то, что она сама однажды воскликнула:

— Мои сыновья были бы лучшими из сыновей, если бы они верили в бога!

При этом я подозреваю, что бог, так же как и ее божественная тезка, пророкова дочка, мало ее занимают. Всю жизнь она работала, пекла хлеб и плакала, отпуская от себя сыновей,—и имя ее среди людей было другим. Среди людей она была Эм Дип, матерью Дипа. А Дип был ее первым ребенком и первым сыном, моим не умершим в детстве братом. Я тоже не умер в детстве, чему она, конечно, страшно радовалась, потому что из семнадцати ее детей младенчество пережили пятеро, остальных не спасло совпадение имен, то есть пассивная вера в случайное счастье. Мы были в ее жизни чем? Жизнью.

Я сидел у нее на плече в ночь нашего изгнания с земли.

Она подхватила меня могучим броском.

Подхватила, вырывая нас, как я теперь понял, прямо из-под бомб.

Она подхватила меня и посадила на плечо, остальные были на руках или держались за платье — всего нас было четверо с нею, потому что Дип остался вместе с отцом в деревне,— и так мы бежали.

Она умудрилась схватить еще одеяло, довольно прочное, хотя не самое лучшее из одеял, имевшихся в нашем доме. Дом перестал существовать для меня, едва мы его покинули, а через несколько часов дом перестал существовать вообще, я об этом еще не знал, не думал; о чем я мог думать, сорванный ею с земли, на которой я сидел в последний раз,— и что случилось с домом, я понял потом. ...И еще она успела взять две подушки, я помню, что это были довольно большие подушки. Мы на них играли потом, когда она нашла нам прибежище под огромным деревом, пересадочным пунктом в путешествии от нашей земли к скитанию. ...И узел с лепешками! Как она унесла все это на себе, я дивлюсь.

Но она ведь была необыкновенной уже тогда, должно быть. Перечисляя скарб, унесенный ею после того, как она твердой рукой закрыла наш дом навсегда (не помню, но это д о л ж н о было быть так: твердой рукой, несмотря на то, что явно навсегда), я стараюсь доказать, что она никогда не теряла

головы в страхе или гневе. Я видел ее и в гневе тоже.

Я прекрасно помню, как мы сидели под деревом, ожидая отца, оставшегося со старшим моим братом, несколькими жителями деревни с винтовками, чтобы отразить захват нашей земли, начавшийся после бомбардировки деревни израильтянами. Раньше израильтяне жили на этой земле как пришельцы, гости, чужие братья...

Со стороны деревни взметывалась земля.

Потом отец пришел. Мы поднялись с земли и пришли в какую-то деревню, и стали там жить по милости добрых людей. Этот день был, наверное, очень важным в жизни моего отца и моей матери, и, наверное, он по-разному повлиял на них. Мой отец всю жизнь оставался изгнанником, и изгнанничество передалось мне и внедрилось в мой характер, в мою кровь, и определило ненависть, которая есть во мне. Моя мать на всю мою жизнь останется для меня воплощением нашей родины, и в этом состоит различие между нею и отцом. Она будто бы отвергла изгнанничество как способ дышать в плохом воздухе, и ненависть ее была иной...

Совершенно не помню их встречи. О их молодости ничего не знаю. Мой отец был уже стар, когда я был младенец. Я был младший и «абу низар», то есть красавчик. Я один мог заставить моих родителей танцевать, и я помню смех мамы, когда они соглашались на мои просьбы.

Потом она изменила мое имя для себя самой и стала называть меня иначе, будто бы обмолвившись сначала.

Все-таки она придавала большое значение тому, как зовут человека. Я был маленький, значит, был еще в ее власти, не оторванный. Она, казалось, принялась снова раздумывать над моим будущим о т о р в а н н о г о от родной земли...

— Почему умирали маленькие братья? — спросил я ее как-то.

— Потому что они были слишком красивы,— отвечала она, продолжая раздумывать.

Сама она всегда была красивой, и я уверен, что между ними — отцом и матерью — была, конечно, любовь, потому что мужчины и женщины нашего народа работают вместе, и женщины не прячут лицо, откликаясь. Они свободны. Они отвечают мужчине как брату и называют себя именами своих детей. Их пристрастие к красоте таково, что любую землю, в которой сохранилась хотя бы капля жизни, они превращают в рай. Красота для них — труд.

С того дня, как мы покинули нашу родную землю, в нее не было воткнуто ни зернышка, ни ветки. Нас прогнали — землю умертвили, кладбище наше уничтожили: я видел. То, что я увидел, пробравшись со временем на оккупированную территорию, было ровным местом... а казалось, моей матери достаточно ступить на землю, чтобы она расцвела!

Красоты: труда, трудолюбия, преданности и истощения жизнью,— не нужно было теперь земле.

И ненависть — одна — была пустой бы.

— АБУ НИДАЛ! — окликнула она меня однажды [1].

Я был уведен из ее дома в шестнадцать лет солдатами, едва успев сдать выпускные экзамены в школе. Когда я сдавал последний экзамен, рядом со мной сидел солдат, дожидаясь. Я увидел мою мать через много лет. За эти много лет я сидел в одиночной камере страшной тюрьмы в Сахаре. Там меня пытали. Потом я был солдатом и стрелял. Потом я начал учиться. Я ссорился с единомышленниками и безвозвратно терял друзей. Я старался не думать о доме, потому что носил другое имя.

Мое детство никогда не покидало меня.

Оно начиналось с бегства. Я все помнил, все лучше и лучше.

Сначала нашу деревню бомбили, потом взяли приступом.

Кто не погиб, ушел.

Нашу райскую землю разровняли, и сделалась пустыня.

Землю за деревней загородили колючей проволокой, а мы стали жить у людей, в которых не было жадности.

Перед проволокой стояли солдаты. Я пробрался, прополз под проволокой на нашу землю, когда немного подрос. Это было время голодных лет, которые начались через два года после изгнания. Я побежал по ровной планете, которой никогда не знал. Когда я вернулся, отец побил меня. Но я отправился еще раз, потому что хотел особенно запомнить вид пустыни, то есть то «ничто», что теперь было на месте моего смутного раннего детства и на месте жизни, обещанной мне рождением. Похоронный стук двери нашего дома уже не восстанавливался в моей памяти отчетливо. Отец опять побил меня. Он боялся того, что могу быть убит со зверством, потому что такое убийство тех, кто пробирался через проволоку, было обычно. Мама же отвернула лицо, отчего мне теперь кажется, что она и сама была готова красться и перебегать от камня к камню и так посетить место, опутанное природными колючками и огороженное колючей проволокой, и освежить свою ненависть. Но ненависти было мало, и ненависть была пуста — одна.

— Абу Нидал,— назвала она меня однажды.

— Я? — удивился я.

— Ты,— сказала она.

Мой отец мулла. Всю жизнь он вставал в три часа и протягивал руку к чашке кофе, после чего отправлялся в мечеть. За час до ритуала кофе просыпалась мама. К этому времени уже пузырилось тесто для хлеба, и я ничего не путаю: тесто ставилось с ночи, к утру оно поднималось, и мы всю ночь спали в хлебном духе, утром уже томившем нас предчувствием счастья. Хлеб, мама, одеяло, пропитанное снами, голос мамы, хлебный запах... Тринадцатого апреля, в день моего рождения, меня бросили тюремному врачу в узле из простыни как интересный случай, и врач сказал: «Я не бог!» С тех пор я не люблю моего дня рождения и мне неловко своей грусти, когда меня поздравляют друзья. Но запах свежего хлеба и голос моей мамы — то, что составляет для меня начальную родину,— этого нельзя уничтожить во мне. Это... пока я живу!

Возможно, поэтому чувство родины у меня было всегда, и я не помню времени, когда я специально задумался о ней. Несколько лет, прошедших со дня, когда я пробрался под проволокой, взрастили во мне это чувство и укрепили. Все эти немногие годы рядом со мной была наша мама. Выучился, переехал в город и «впутался в политику» Ибрагим. С двадцатью пятью товарищами пустился на поиски своего шанса Дип. В чужую страну он пришел через пустыню... Их осталось пятеро. Мы переехали тоже в город. На первых моих демонстрациях я разделил мир на тех, кто был со мной и с кем был я, и на тех, кто был против меня и нас. Так что солдат, ожидавший конца моих экзаменов, был, так сказать, мне знаком уже.

...Хотя в том раннем и темном для меня детстве, когда мама была молода, был такой день, вернее ночь. Ночью я сидел на пашне, ожидая отца, отправившегося домой, жег жалкий костер из веток, которые уже заканчивались у меня под рукой, и смотрел в желтые пристальные безумные ласковые и жадные глаза шакала, прилегшего почти перед самым костром в ожидании конца веток.

Я изучил его прямой человеческий взгляд. Он честнее взгляда моих врагов! Я зажег последнюю ветку и встал. Он тоже поднялся, не сводя с меня счастливого взгляда. Итак, шестилетним я в ы д е р ж а л. Фырканье лошади спасло меня. Мама ужасно плакала как от предчувствия.

С годами я понял: только в своей смерти я не властен. О н и могут убить меня. Они пробовали это. Но и только. Шакальему безумию я противопоставляю свой прямой взгляд.

Что касается предчувствия, то на него способны лишь красивые женщины, имеющие сыновей и преданные им.

Я хотел ее увидеть! Я мечтал, чтобы на вопрос, где я так долго шатался,— она должна была его задать,— я смог бы ответить легко и весело, и мы бы рассмеялись. В шестьдесят девятом году из степенного европейского города, на почте, я внезапно захотел отправить письмо маме. Я сел за столик, на котором лежала старая газета с

[1] *«Тот, кто борется за справедливость».— Примеч. ред.*

таблицей выигрышей в лотерее, придвинул чернильный прибор и одумался. Из этого города — от роз его, фонтанов и пыли — я не мог отправить письма моей долготерпеливой матери. И в этом неотправимом письме я не мог, конечно, написать в подробностях, как я выживал стараниями тюремного врача и как учился ходить после упражнений надо мной — после пыток. И как меня, можно сказать, выкрали из тюрьмы и повезли в Сирию, потом я жил в Кувейте, потом... Степенный европейский город! Его девушки считают себя загадочными и улыбаются самим себе...

Когда мы еще жили в деревне, и Ибрагим еще учился нормально, вся деревня, как и моя родная бывшая, привыкла ходить в наш дом к маме лечиться от пиявок, проглоченных с водой, рези в животе и колючек, залетевших в глаз. За пиявок тащили барана. Тогда — люблю и это воспоминание! — на пороге появлялся отец, говоривший: «Вон, неблагодарные!» А мама смеялась в доме, потому что ведь нашего отца всегда было трудно понять, и тупой баран вертел рогами. Мой отец предпочитал такую чистую нравственность, воспитанный на возглашении Корана, что деревня предпочитала нрав моей мамы, доверяя ей всецело. С решительностью, которая у нее всегда была в делах, мама вынимала колючки, чтобы глаза снова видели небо, и подталкивала увидевших небо к выходу тоже решительно.

Колючая проволока приближалась к нам. Несколько раз солдаты обстреливали школу. Мы бежали во двор и собирали камни. Проволока была уже — тогда, когда благодарная деревня звала маму на свои свадьбы и на свои ссоры,— в двух километрах.

Колодец охранял патруль.

У убитого возле колодца нашли яд для колодца в мертвой зажатой руке.

Мы все стояли у колодца и смотрели на убитого.

Мама, отец и Дип, еще не пустившийся через пустыню, собираются к отъезду. Куда они едут? В Аль-гор, мертвое место. Но там свободная земля. «Аль-гор... Это хорошая земля, сын. На ней только надо много работать».

Вот что я время от времени вспоминаю в моей жизни, наполненной скитаниями и неустройством. Сухая и тощая земля Аль-гор теперь рай. На ней растут помидоры, баклажаны, перец. Я не приложил много труда к этой земле. Когда мой отец умирал, он сказал Ибрагиму: «А также умоляю: помогите тому, кто ничего не имел в жизни». «Ничего не имевший» — это я. Иногда мне кажется, что отец прав. Когда забирали в тюрьму Ибрагима, он сказал что-то властное Ибрагиму. Когда Ибрагим убежал из тюрьмы, пришли спрашивать, где он, у отца.

«Собаки!» — презрительно сказал мулла. И его увели. Колючая проволока приближалась.

Колючая проволока прошла наш город насквозь. Отец умер. Дип далеко. Дом пустой. Я знаю, что мама не сидит без дела, а все копается в земле. У нее есть маленький клочок не ее собственной, но оккупированной земли, где она выращивает грядку с баклажанами. Конечно, это ее земля за их колючей проволокой!

Я нашел товарища, который согласился провезти письмо.

«Я жив». Это все, что написал я.

Она должна была понять, от кого письмо. Я — Абу-Нидал, мама.

Наша встреча произошла не так давно, не хочу думать, что она последняя. Фатима. Я сейчас произношу ее имя и думаю, насколько хорошо я знаю ее.

— Где ты был? — спросила она меня так, будто я лишь отлучался.

Мы встретились на нейтральной территории. Она приехала из города, где раньше мы жили все, я приехал из другой страны.

— Так где же ты был? — спрашивает она.

— У друзей, мама.

— И ты думаешь, что для того, чтобы услышать такое, я приехала? — вдруг воскликнула она.

Она разгневалась.

— Вот моя жена,— сказал я, представляя мою жену, потому что другого случая познакомиться у них не будет.— Если она тебе не понравится, скажи — и я найду другую жену, которая понравится тебе.

Она рассмеялась беззубым ртом. Она откинула голову, чтобы смотреть мне в глаза, и белый платок, который она носила всю мою жизнь, стал спускаться с ее волос.

Я подумал, что она увидела два моих главных шрама через рубашку, прикрытую хорошим костюмом, в котором мне было душно. Злая колючка-сапер, пустынный враг путешественников и бездомных, залетела мне в оба глаза, и я захотел, чтобы Фатима выручила меня, как выручала чужих. Но она молчала, глядя мне в лицо будто бы без всякого выражения. У нас было всего два дня. Моя жена, чужая всему, что окружало нас во время разговора, и даже не знавшая язык, стояла с какой-то вещью в руках, пережидая это время. Не оборачиваясь, я мог увидеть ее стройную дорожную фигуру. Два дня прошло, и мы уехали. У моей матери всегда была тяжелая рука, и до шестнадцати я успел получить свою норму подзатыльников. Она стала невелика ростом, и я готов был наклониться для затрещины, которую я, кажется, заслужил. Впрочем, если бы действительно заслужил, она бы вкатила не раздумывая.

Мне хотелось, чтобы она назвала меня, как прежде, оговорившись. Я хотел узнать, кто я.

Тогда бы я сказал: «Я не виноват в судьбе — это ты велела!»

Она молчит.

— Не лги, Юсеф,— наконец говорит она.

Записала С. ТИЩЕНКО

со стр. 10 ▼

это люди, действующие от ее имени. Для нее Советская власть не была учреждением, а была крепкой шеренгой преданных ей людей, и она не видела причины, по которой ей могли велеть выйти из строя. Власть была: пенджикентский милиционер, подхвативший Мать, убитый в коротком и страшном бою в Косатароше; Акоп, перепоясанный ремнями, узкими, как плетки, и русский механик Аникин, со своей душой; все люди в Москве, куда Мать послали перед войной за успехи на пахоте и севе и где она поняла, что Москва — город Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Каждый в Советской власти стоял на своем посту.

Летом сорок четвертого мать стояла на посту у зернового рисового склада. Этот пост нельзя было оставить. Тойчи, ее первый сын, пусть не ею рожденный, в этот день уходил на свой пост, она гордилась им и никогда не узнала о мираже, обмане зрения, возникшем у Тойчи на горячем воздухе, когда он увидел ее, бегущую к нему, в слезах.

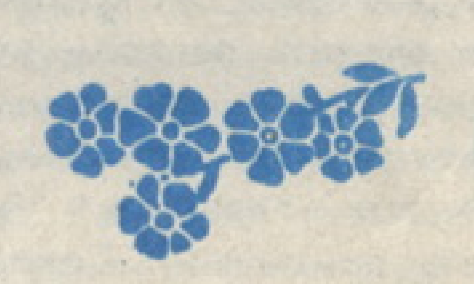
Она никогда не ждала помощи, потому что люди на других постах тоже помощи не ждали. В шести мешках муки, переданной ей Раисой, почти не было муки для нее самой. Она, как лицо при исполнении долга, не имела на нее права, так же, как не имела такого права Раиса.

Вот какие люди жили в ее время.

А материнское, живое, что ждал от нее Тойчи, любимый и лучший, потому что шел на гибель, сын, что знакомо лишь матерям — неужели не просыпалось в Матери?

Это было в ней. И не надо доказательств. Было — и все.

...Ее внук, один из многих, Атхам, уходя в армию, откусил с краю лепешки, вернулся через два года и нашел ее на стене дома Матери, где вырос. Потом он женился и показал Матери жену Тамару. Потом была свадьба Буринисо, и родился внук Авазхон. Мать все стояла в их волшебном саду, и порыв сильного ветра — жизнь — шел к ней.



Любовь к этой женщине и память о ней я пронесу через всю мою жизнь.

Хосе Марти, кубинский революционер и поэт. Из статьи, посвященной памяти Марианы Грахалес





ВСЕ ЕЕ СЫНОВЬЯ

В. ЮРИСТ

Мариана Грахалес, мать национального героя Кубы Антонио Масео, родилась 26 июня 1808 года в Сантьяго-де-Куба. Родители Марианы были свободными крестьянами, но они были мулатами, и они были бедны. Они приехали на Кубу с острова Сан-Доминго. На этом острове под влиянием идей Великой французской революции еще в конце XVIII века началась борьба негров-рабов за свободу и независимость. В 1804 году борьба увенчалась победой. Рабство было отменено, и возникло первое латиноамериканское независимое государство — Гаити. По вечерам все родители рассказывают детям разные истории. В семье Грахалес по вечерам рассказывали историю Великой французской революции. «Свобода, равенство, братство» — эти слова Мариана знала всегда. Она умела уважать в себе СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.

Такого уважения она требовала всю жизнь от других.

Как положено, Мариана вышла замуж. У нее родились сыновья Фелипе, Фермин, Мануэль и Хусто. Потом муж умер, и Мариана осталась одна с четырьмя детьми на руках. Семью надо кормить, и Мариана вернулась в родительский дом, работала в поле и делала все то, что должна была делать.

В тридцать пять лет Мариана снова выходит замуж, за Маркоса Масео. Маркос Масео тоже был свободным крестьянином. То есть не рабом. У него было девять кабальерий земли.

Мариана родила Маркосу девятерых: Антонио, Хосе, Рафаэля, Мигеля, Хулио, Томаса, Маркоса, Домингу и Бальдомеру.

Стало быть, всего Мариана родила тринадцать детей. Одиннадцать сыновей. И все одиннадцать отдали свою жизнь за свободу Кубы.

Детей она воспитывала так, как воспитывали ее саму родители. Дети должны были хорошо вести себя и быть всегда чисто одетыми. Не шляться в чем попало по улицам — она не из тех безвольных матерей, у которых не хватает сил следить за всем этим. К тому же они мулаты, а уж им надо быть в десять раз опрятней белых.

Чистота — это главное. Чистота должна стать привычкой. Сохранился ее портрет, написанный на Ямайке, где она делила с сыном Антонио трудности и лишения эмигрантской жизни. Ей за восемьдесят. Денег не хватает даже на то, чтобы заплатить за жилье. Но на голове у нее крахмальный чепец, а на груди — белый бант, по моде того времени. Бедности никогда не удавалось одолеть ее.

Сил и времени у Марианы хватает на все — и на работу в поле, и на взбучки малолетним нарушителям порядка. Мужу нет необходимости указывать, что нужно делать: она все знает сама. Более того, муж прислушивается к Мариане, и в ответственные для семьи моменты решающий голос принадлежит ей. В доме царит она.

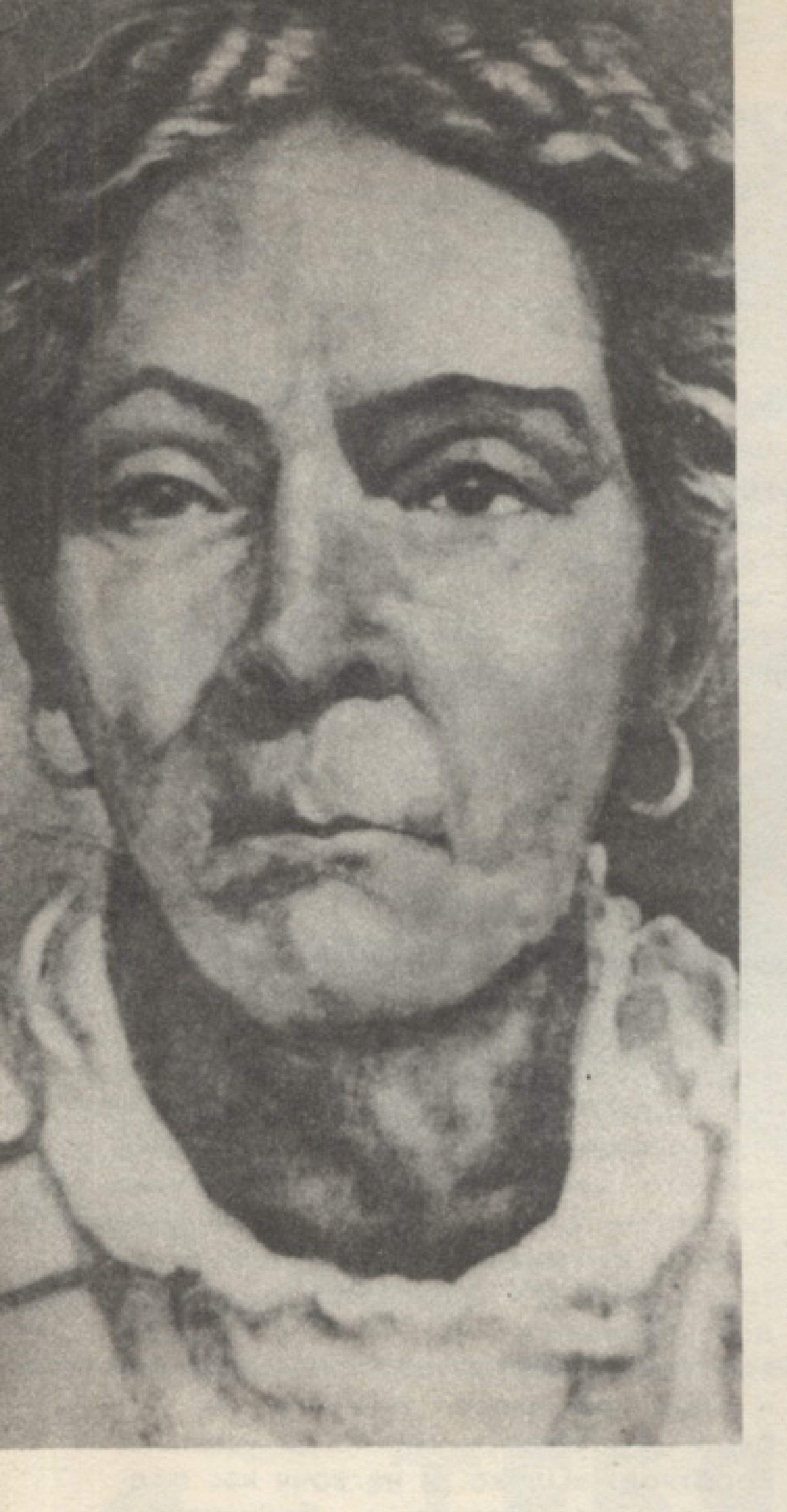
Когда смертельно раненный Маркос понимает, что наступил конец, его последние слова: «Я выполнил свой долг перед Марианой». Это означает: я отдал свою жизнь за родину, как того хотела Мариана от всех Масео.

Мариана была суровой матерью: она любила своих детей — она отказалась от материнской нежности. Она считала, что нежность может помешать созреванию настоящего характера. Характера людей, преданных СВОБОДЕ, РАВЕНСТВУ и БРАТСТВУ.

Шла середина XIX века. На кофейных плантациях, на плантациях сахарного тростника надсмотрщики секли спины черным рабам, вывезенным из Африки. Рабство на Кубе было официальным. Почти половину населения острова составляли негры и мулаты, но даже свободные негры и мулаты были лишены гражданских прав. В общественной и политической жизни могли участвовать лишь люди с белым цветом кожи.

Также официальной была коррупция: взятки получала даже испанская королевская семья. Министерство финансов Кубы ежемесячно пересылало в Мадрид «в качестве подарка» тринадцать тысяч восемьсот семьдесят пять золотых песо.

Долго так продолжаться не могло.



На снимках: «Смерть Антонио Масео», картина художника А. Менокаля; портрет Марианы Грахалес.

Сбылась моя мечта... Воспрянул
мой народ,
Народ моей страны, народ
любимой Кубы!
Три века он страдал, до боли
стиснув зубы,
Три века он терпел насилья
черный гнет.
От эскамбрийских скал и
до обильных вод
Седого Кауто — повсюду
бурь раскаты
И наших пушек гром...
Насильник злой, объятый
Внезапным ужасом, бледнеет
и дрожит.
Поля недавних битв — ему позор
и стыд,
Он там похоронил свою былую славу,
Отвагу дерзкую, удачи
прежних лет...
И, цепи разорвав, народ мой
величаво
Теперь идет путем свободы и побед.
Сбылась моя мечта,
ее прекрасней нет!

Это стихотворение Хосе Марти называется «10 октября»[1] — 10 октября 1868 года в провинции Орьенте началось восстание кубинских патриотов под руководством Карлоса Мануэля де Сеспедеса. В числе повстанцев были не только крестьяне и рабы, но и патриотически настроенная часть помещиков и буржуазии.

Когда в доме Масео появился первый отряд восставших, Мариана накормила их ужином, а Маркос передал командиру своих лучших лошадей, все имевшиеся в доме деньги, четыре унции золота, двенадцать мачете, четыре винтовки, два револьвера и один мушкетон. Все достояние семьи.

Командир обратился к Мариане: «А кого из сыновей ты отпустишь со мной?» Вперед шагнули Антонио, Хосе и Хусто. Чуть позже Мариана послала шестнадцатилетнего Мигеля отвезти братьям чистое белье и одежду. Мигель тоже остался в отряде. Узнав об этом, Мариана созвала всех в большую комнату и сказала: «Надо начинать новую жизнь. Теперь мы все солдаты». Собрав все необходимые пожитки, она вместе со всеми детьми отправляется в партизанский лагерь, расположенный в лесах неподалеку от местечка Пилотос.

В то время ей было шестьдесят лет.

Тогда почти вся территория Кубы, и особенно ее восточные провинции, была покрыта непроходимыми лесами. В этих лесах и скрывались восставшие. Белые, мулаты и негры жили там одной семьей. Брюки из грубого сукна, белая рубашка навыпуск, «гвайябера», и соломенная шляпа — вот их форма. Мачете — вот их оружие; винтовки, карабины и револьверы были у немногих. (Позднее восставших станут называть «мамбисами», по имени полковника Мамби, одного из руководителей борьбы гаитянских негров за свободу.)

После первых боев Антонио получает звание сначала сержанта, а затем капитана. Очевидцы вспоминают, что форма солдат из отряда капитана Антонио всегда отличалась исключительной чистотой (и это в условиях партизанской войны). Из уст капитана никто никогда не слышал ни одного грубого слова. Более того, он добился, чтобы в его отрядах никто не опускался до сквернословия, а сформированы они были из вчерашних рабов и простых крестьян, никогда не придававших крепким словечкам большого значения.

Он впитал эту тягу к внутренней и внешней чистоте с молоком матери.

[1] *Перевод Ф. Кельина.— Здесь и далее примеч. ред.*

Вскоре капитаном стал и Хусто. Он первым из Масео погиб в бою.

Отряд Антонио атакует испанский гарнизон города Сан-Агустин, город взят, но и потери среди повстанцев тоже велики. В этом бою муж Марианы получает смертельную рану. Маркос умер в звании сержанта Освободительной армии.

Потом погиб Мигель, и Мариана отправляет в отряд Томаса, которому тогда не исполнилось еще и пятнадцати.

В 1869 году командиром дивизии, где сражаются братья Масео, назначают генерала Максимо Гомеса. На первом же смотре командующий обращает внимание на батальон подполковника Антонио Масео. Его солдаты выделяются среди всех своим внешним видом, выправкой и дисциплиной. Гомес назначает Антонио своим заместителем.

Испанцы начинают осознавать, какого противника они получили в лице Антонио Масео. Они пытаются подкупить его: через тайного посланника предлагают тысячу унций золота — он вместе с матерью и братьями должен уехать с Кубы.

Антонио созывает военный совет, который принимает решение казнить изменника, принесшего позорное предложение.

В декабре 1870 года в рукопашной схватке у местечка Нуэво Мундо смертельно ранен Хулио. Мариана не плачет: она дежурит в палатке для раненых, где лежат еще два ее сына. В это время в палатку вносят истекающего кровью Антонио. Женщины стонут и кричат, и Мариана, выпрямившись, грозно бросает им: «Вон отсюда, кликуши! Мне не нужны ваши слезы. Врача!» Раны Антонио тяжелы, но Мариане удается невозможное: сын возвращается в строй.

Вот уже много лет мамбисы живут в горах. «Своими руками мы сжигали родные города и строили в девственных лесах новые селения и фабрики, наши женщины носили одежду из коры деревьев, десять лет мы вели борьбу и не раз наносили сокрушительные удары противнику, потерявшему двухсоттысячную, хорошо вооруженную армию в боях с малочисленной армией патриотов, которых поддерживала только природа»,— писал Хосе Марти. Лес снабжает повстанцев всем необходимым. Из кокосовых орехов и тыкв они делают посуду; каждый партизан знает, какая трава помогает от лихорадки и простуд, самых распространенных болезней в тропическом лесу. Кровати делают из выдолбленных стволов деревьев. Раненых, лежащих в этих кроватях, приходится иногда опе-

рировать с помощью ножниц и шпилек для волос. Мариана умеет делать такие операции. Она лечит всех, даже пленных испанцев.

Она — партизанская мать, ее дети — все повстанцы. А дети не должны знать, что творится на душе у матери, мать должна быть всегда спокойной и улыбающейся. Улыбку эту она сохранит до самой смерти. Бывали случаи, когда бои приближались к самому лагерю. Кое-кто мог и дрогнуть. Но вид матери Масео, в неизменном опрятном чепце, спокойной и невозмутимой, помогал одолеть растерянность.

Посыпалось стекло, звеня.
За пулей пуля бьет и свищет...
А женщина кого-то ищет...
Ах, это ищет мать меня!

Что ей свирепые испанцы?
И, перед храбростью такой
Сняв шляпы и забыв про бой,
Стоят отважные гаванцы.

И молча обнялись мы с ней...[1]

По отношению к родным сыновьям ей уже не надо быть строгой: она добилась своего, ее дети стали примером для всех. Палата представителей революционного парламента присвоила Антонио Масео звание генерал-майора. В то время ему было 32 года.

Мариана учится баловать своих детей, взрослых мужчин. Она старается дать им то, чего сознательно недодавала в их первые годы: нежность. Она оставляет им лакомства, доступные в лесу,— мед и лепешки. Уходя на задание, сыновья, как в детстве, просят ее благословения.

Все больше дают себя знать трудности партизанской жизни. Их не выдерживают даже лошади — главное транспортное средство восставших. США поставляют Испании тридцать канонерок, что позволяет испанцам блокировать остров и перекрыть подвоз оружия для партизан. Западная часть Кубы не поддержала восстания, испанцам удалось подавить выступления в провинциях Камагуэй и Лас-Вильяс. Боевые действия продолжаются только в зоне, контролируемой войсками Максимо Гомеса.

Антонио вновь тяжело ранен. Правительство восставших принимает решение: Антонио Масео с семьей должен на время покинуть Кубу. Это необходимо для будущих сражений: необходимо сохранить жизнь выдающемуся полководцу. Но правительство знает, что Антонио не согласится уехать из страны в тяжелые для нее дни, поэтому ему приказывают отправиться на Ямайку для закупки оружия и сбора средств.

Вместе с матерью, женой и братьями Маркосом и Томасом Антонио уезжает в Кингстон.

Мариана, теперь уже очень старая женщина, возвращается к крестьянскому труду. Она сеет табак, выращивает фрукты и овощи. Работа помогает ей переносить разлуку с сыновьями Хосе и Рафаэлем: они остались сражаться на Кубе.

Домик Масео становится центром революционной деятельности кубинской эмиграции. Сюда приезжают генерал Максимо Гомес, Флор Кромбет, Эусебио Эрнандес и другие выдающиеся деятели национально-освободительной борьбы. В этом доме бывает Хосе Марти: «...овеянная славой старушка готова ласково принять каждого, кто приезжает к ней с рассказами о родине. Она поднимает к вам лицо, изборожденное морщинами, и белый чепец на ее голове кажется короной. И каждый гость невольно стремится поцеловать ее руки... Она всегда сама накрывает стол, чтобы угостить посланца ее дорогой Кубы. А потом она провожает вас до самого порога».

Приходит страшная весть: испанцы схватили Хосе и Рафаэля и отправили в Африку. Стены кубинских тюрем казались им ненадежной защитой от мужчин из семьи Масео. Рафаэль умирает в африканской тюрьме.

Мариана работает.

Так, за работой, она умерла 28 ноября 1893 года. Ей было восемьдесят шесть лет. Она была счастливой женщиной: она не думала о себе.

23 апреля 1923 года кубинский народ перевез останки Марианы Грахалес на родную землю и похоронил в урне, завернутой в национальное знамя Кубы.

Муравей рожден свободным,
Паучок и сверчок,
Им не нужно укрываться
От нужды или испанца.
Их закон не понуждает
Подкупать чиновный люд
За свободу и за труд.
Честь моя, скажи, когда
Обрету свободу я?

Песенка, которую пела Мариана Грахалес своим детям.



Сначала был телефонный разговор. После двух часов ожидания я услышал в трубке ее голос. «Приезжайте.— Я все время в городе.— Только могут меня в больницу положить. У меня с сердцем плохо.— Да, приезжайте...»

Потом, по пути в аэропорт, в автобусе, мчавшемся по пустому утреннему шоссе, я вспоминал еще раз и еще ее голос, голос женщины, известной по книгам, кинофильмам, публикациям в газетах и журналах... Но одно дело — читать о человеке или слышать с телеэкрана, а совсем другое — живого голоса коснуться, по звуку и интонации попробовать заново представить характер... Говорила она на удивление медленно и строго, но вместе с тем в самом звуке ее голоса проскальзывали неожиданные ласковые нотки.

Наутро после дня пути я позвонил ей из гостиницы. Волнуясь, как всегда перед встречей с человеком, о котором надо писать, я набрал ее номер и с внезапной отчетливостью, будто не по проводам, услышал ее медленный, пугающе-усталый голос: «Да, слушаю...» Что-то изменилось в ее голосе с того, первого разговора, если можно так сказать — голос поник, не взлетал больше неожиданными ласковыми интонациями... И я стал объяснять, что мы договаривались, что я хочу сегодня встретиться с ней, спросил о здоровье и ждал обычного: «Ничего, так себе...» — и растерялся, когда услышал короткое: «Плохо. Я не хочу вас подводить (бесстрастно и безнадежно разматывался ее голос). Но у меня был сердечный приступ. Позвоните завтра». — «Завтра?» — Уже звучали в трубке короткие гудки.

Теперь к тем немногим фразам прибавилось несколько новых, и вновь я думал о том, какое знание можно извлечь о ней из этих двух телефонных разговоров. Так тяжело звучал ее голос, так тяжело и медленно... Говорила она через силу, словно поднимала слова, как камни... Образ раздваивался... Первый голос принадлежал женщине явно и бескорыстно доброй, бывают такие женщины — бабушки, учительницы, воспитательницы детских садов, которые надевают на себя строгость как маску, чтобы дети или внуки их слушались, но сами не выдерживают этой роли, из-под строгости, как из-под маски, все время норовит появиться ласковая теплая доброта... А сегодняшний голос — от боли, быть может,— был жёсток, как жёсткость появляется в людях в безнадежных ситуациях... и голос этот выдавал суровую твердую душу. И этот второй образ, образ женщины, умеющей подавлять свою боль, основывался еще на том обстоятельстве, что она ведь знала, что сын ее занимался подпольной работой, и одобряла его в этом, то есть одобряла в смертельном риске... Одобряла сына, почти наверняка шедшего на смерть. Как это было понять? Тут крылось противоречие основ, ибо Мать — дает жизнь, а не посылает на смерть... И всплывали в памя-

[1] *Хосе Марти. «Дом подожжен в пылу сраженья...» в переводе Ф. Кельина.*



ти другие примеры: мать Александра Ульянова, мать Георгия Димитрова — и они одобряли сыновей на борьбу, грозившую смертью... Но примеры эти не снимали противоречия жизни и смерти, матери и смерти — противоречие это разрешалось не вообще, не в абстракции, а каждый раз в сердце матери, в душе матери, а двух похожих душ нет... Каждая мать терпела свою боль, посылая на смерть своего сына, по-своему преодолевала противоречие жизни и смерти... И только сама и по-своему могла сказать об этом.

В этот день, оказавшийся свободным, я зашел в огромный музей, который был в минуте ходьбы от гостиницы. На стендах, под стеклом, было множество фотокарточек Елены Николаевны Кошевой, и я стоял долго, впитывая в память ее лицо. На самой ранней она была красивой молодой женщиной с короткими волосами, стройная, со стройными ногами в туфлях на плоской подошве и со шнуровкой... Деловая, спортивная женщина тридцатых годов — работала, участвовала в общественной жизни, бегала кроссы, играла в волейбол, презирала косметику и ценила здоровье... Потом — она с Олегом, тут она изменила прическу, волосы ее двумя темными потоками падали по обе

«... ТЕБЯ СЕЙЧАС ВСПОМНИЛА»



К. ЯБЛОНСКИЙ

На снимках: Елена Николаевна Кошевая и бабушка Вера; у могилы молодогвардейцев — минута молчания.









стороны крупного, дышащего здоровьем лица, а в глазах и в едва намеченной улыбке было легкое веселье, была та женственность, что неуловима в словах... А рядом с ней был ее сын, красивый юноша с нежными щеками и глазами, в которых была вместе кроткость и уверенность в себе и еще — милая насмешка над собой, таким уверенным в себе... И у обоих — у матери и у сына — лица были похожи, крупные, здоровые лица жизнерадостных людей с характерами. И мать приникла на одной из фотокарточек к сыну, к его крепкому широкому плечу, как может приникнуть женщина к мужчине-защитнику, хотя и говорила при этом всем выражением лица, что это в шутку, невсерьез. И выглядели они как люди, которые очень любят друг друга и немного стесняются этого.

А дальше мать исчезала с фотокарточек, исчезало ее имя из сопроводительных текстов, а появлялись другие: Туркенич, Громова, Земнухов, Шевцова... И вещи, выставленные в витринах, стали другими. Раньше это были шахматы или альбом с лошадьми на обложке,

этот альбом Олег Кошевой завел с основательностью подростка для того, чтобы собирать в него фотографии и открытки, и том Толстого,— теперь же появились пластиночки самодельного шрифта, и пожелтевшие листовки (буквы прыгали из строки вверх и вниз): «Все брешут фашисты...», и пистолеты, и ножи... Эти пистолеты и ножи, немо висевшие за стеклом, все же излучали из себя чувство, словно бы в них остались чувства их владельцев, мальчишеская радость держать в руках оружие, радостная приподнятость оттого, что теперь они могут мстить оккупантам... У Кошевого был чуть ли не игрушечный пистолетик «кённер», бивший, наверное, шагов на десять, у Любы Шевцовой было то, что она называла финкой — ножичек размером с ладонь, таким карандаши точить. А у Юрия Виценовского был старинный меч. А еще была пулеметная лента с одним (одним!) патроном. И странным образом это оружие, собранное с миру по нитке, перемежалось вещами не то чтобы мирными, а даже игривыми, выдававшими возраст и радость жизни, что переполняла их владельцев. Серо-сиреневая маленькая кокетливая шляпка Шевцовой. Мандолина Левашова с черным бантом на грифе. Граммофоны и патефоны и толстые пластинки Грампласттреста. И при взгляде на все эти тщательно собранные здесь вещи — пластинки, девичьи расшитые блузки, веера с цветами, гитары, балалайки, книги, граммофоны с раструбами, детские рисунки на вырванных из тетрадок листах — возникало щемящее чувство тоски, оттого, что столько жизни, столько счастья, столько любви навсегда остались непрожитыми.

И не только тем непосредственным уроном, который они нанесли вермахту, оценивалась их деятельность, а еще чем-то совсем иным: потому что важнее непосредственного урона был сам пример их жизни, пример людей, решивших жить по чувству, наперекор врагу. Как все в молодости, они были не склонны к компромиссу, с вызовом утверждали, что способны сохранить свою нравственную чистоту, несмотря ни на что: и Уля Громова выписывала в дневник цитату из Чернышевского: «Умри, но не дай ни одного поцелуя без любви!» — это был радикализм любви, радикализм чувства, желавшего остаться на высоте, смелость жить по принципу. И так же точно, как она не желала целовать без любви,— точно так же она не желала жить под врагом, по законам, которые ей были отвратительны. Для нее, как и для ее товарищей, важно было не выжить, а прожить жизнь в соответствии с собой. И как же это трудно оказалось!

Действительность была вовсе не романтичной. Смерть была начисто лишена красоты. Они зачитывались Джеком Лондоном: «Гораздо легче видеть, как умирают герои, чем слышать вопли о пощаде какого-нибудь труса». Или: «Чем больше препятствий, тем больше удовольствие от их преодоления». Но одно дело — мечтать о подвигах, читать красивые мужественные книги, а другое — вступить в борьбу почти без шансов выжить. Тут подумаешь, что тебе дороже: принцип или жизнь. Для них дело было именно в принципе. Не только в том, чтобы поджечь здание управы или напасть на машину с немцами, но и в том, чтобы доказать этими поступками, что они не подчинились. И удивительно было прочесть то, что сказала Анна Сопова, девушка с пышными стелющимися волосами, когда ее, вместе с другими, привезли к шурфу и стали сталкивать одного за другим вниз. Ее же перед этим подвешивали за косы и одну косу вырвали. «Что вы хотите этим доказать?» — спросила она, и как наивно и интеллигентно это звучит, если представить себе весь кошмар того зимнего дня, холод, снег, степь, мат полицейских, шурф — колодец, прямоугольник в метр шириной, пятьдесят глубиной, изнутри обитый досками, баньку рядом, где их били, прежде чем сбросить вниз... «Что вы хотите этим доказать?»

Кошевого же расстреляли в городе Ровеньки, и было в музее свидетельство об этом жандарма Отто Дровитца. «Мы поставили арестованных на край заранее вырытой большой ямы и расстреливали всех по приказу Фромме. Вдруг я заметил, что Кошевой еще жив, и очень удивился. Я подошел ближе и выстрелил ему в голову». И вдруг подумалось, что мать наверняка читала свидетельство этого жандарма, как он «очень удивился», и что же она должна была испытывать, читая это? — и хотя этого не могло быть, но тот сердечный приступ, с которым она лежала сейчас где-то неподалеку (ибо Краснодон — маленький городок), как-то вдруг оказывался связанным с тем, что сорок лет назад она читала, как убивали ее сына.

Утром следующего дня я опять позвонил ей и опять услышал неожиданно-близко ее тяжелый медленный голос: «Да, слушаю...» Я заторопился объяснить, кто это и зачем, и спросил про здоровье, надеясь услышать: «Спасибо, так себе...», а услышал: «Плохо». Что надо говорить в таких случаях? «Я понимаю (она продолжала). Я не хочу вас подводить. Но у меня сердце... Завтра». — «Завтра?» — И уже звучали в трубке короткие гудки.

Появилось еще время подумать. Даже не подумать, а пропустить через себя неспешно — именно неспешно — очевидные, простые мысли. Мысли эти нельзя было думать на бегу, торопясь, и оттого часто они не думались годами. Ничего нового и оригинального в этих мыслях не было, все это было ясно, чисто, как вода. И отмывало душу, как вода. Когда нам больно, мы зовем маму. Жизнь — дается мамой. Смерть — полное прекращение счастья. В начале каждого, кто живет,— мама. Очень просто.

И как это было у нее, что она одобряла сына, шедшего на смерть?

Это странно, но думая об этом, я почувствовал, что должен, так сказать, посмотреть на начало жизни. Я не мог бы объяснить зачем, но не все движения души возможно объяснить. Может быть, после тех описаний смерти, что я читал в музее, необходимо было душе, как лекарство, зрелище трогательной, только что начавшейся жизни. Во всяком случае, на одном конце была смерть — смерть в парке города Ровеньки, где вырыли большую яму... мать, одобрившая сына в смертельном риске, сорок лет назад... и теперь лежавшая с сердечным приступом... Что же на другом конце? Чем же уравновесить это обилие смерти? — и хотелось уйти к началу — от прекращения всякого счастья к тому моменту, когда нет ничего, кроме надежды на счастье. И, быстро и легко найдя роддом (все в Краснодоне было близко), я вошел в кабинет к главному врачу и, показав удостоверение, попросил разрешения осмотреть это место, где начинается человеческая жизнь.

— А сейчас, вот в этот момент, рождается кто-нибудь? — спросил я.

В ординаторской мне дали белый халат, шнурочки которого завязывались на спине, белую шапочку, марлевую повязку...

С чувством нарушителя, теперь вовсе не уверенный, что имею право настолько близко подходить к святая святых, к началу начал, я за врачом вошел в прямоугольную комнату с большими окнами, в которые был виден осенний сад. В холодном воздухе поднимался белый дым от горящих в костре листьев. В окно вливалось очень много света. Комната будто плавала в этом легком осеннем свете, между кронами больших серых деревьев. Два врача в марлевых повязках работали рядом с молодой женщиной. Быстрым движением один из врачей сделал что-то никелированным инструментом. Женщина растерянно ахнула. Пока мы шли, роды кончились.

В очень маленькой комнате, где едва

на стр. 23 ▶







На снимках: дом в городе Вейле (ФРГ), где родился Иоганн Кеплер, астроном, открывший законы движения планет; фрагмент гравюры Лукаса Кранаха, старшего современника матери Кеплера; первая страница трудов И. Кеплера.

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО



(Документальный рассказ)

А. ПОЛИКОВСКИЙ

Благочестивый и ученый друг, вы просите рассказать о моей матери, надеясь, что по прошествии сотен лет потомки будут интересоваться не только нами и нашими делами, но и родителями нашими.

Когда родилась моя мать, точно не могли сказать ни ее родители, ни она сама. Думаю, вы в своем труде можете принять год 1548 за тот, в который родилась моя мать.

Она была дочерью трактирщика и трактирщицы из Этлингена, но первые годы своей жизни провела у тетки в Вейле-городке. Ее тетку впоследствии, задолго до моего рождения, сожгли как колдунью. Мать говорила, что тетка научила ее собирать лекарственные травы и коренья и варить их со всеми необходимыми церемониями, о чем я скажу позже. После того как тетку сожгли, моя мать вернулась к родителям в Этлинген и до самого замужества в 1571 году прожила там, помогая родителям по хозяйству. Они содержали богатый и большой трактир на пересечении дорог, шедших от Лейпцига до самого Парижа и от Гамбурга вниз, до Альп. Так как на дорогах все время были люди, то трактир моего деда процветал, и он был одним из самых богатых людей в Этлингене. Деньги он складывал монета к монете в чулки жены, которые висели у них как колбасы, набитые золотыми флоринами. Они были скупы и богобоязненны и не раз били мою мать за излишнюю бойкость.

Моя мать, Катерина Гульденман, не походила ни на одного из своих родителей, и это вызывало у них досаду, потому что они в любом отклонении от общепринятого и обычного видели бесовы штуки. Моя мать была невелика ростом, и это было ее единственное сходство с родителями. Они оба были плечисты и длинноруки и ступали тяжело на всю подошву сразу, как все крестьяне. Лица их в своей неподвижности производили впечатление деревянных, а глаза были будто черные бусинки, вставленные в дерево. Мать же имела неожиданно смуглое лицо с ясными глазами, стан тонкий, руки маленькие, а ходила всегда, даже в глубокой старости, легко, несмотря на то, что всю жизнь носила башмаки из бычьей кожи, каждый из которых весил как хороший камень. Но в матери моей была природой заложена стремительность птицы, и в юности она порхала в переднике и в тяжелых ботинках в нижнем зале трактира в Этлингене, где разносила мясо и пиво и убирала со столов.

Здесь ее характер, от рождения бойкий и острый, получил ту вульгарную форму, которая удивляла в последующие шестьдесят лет всех, кто ее знал. Ибо моя мать, не в обиду покойнице будет сказано, и в семьдесят лет, бывало, любила пустить в речь трактирное словцо. Не столько из страсти к злословию, сколько из озорства, которое всегда владело ею и было причиной многих ее бед.

Да, с юных лет ее одушевляло беспокойство, которое я бы назвал тягой к абсолютной справедливости, если бы оно не выражалось в столь шумной и нападающей форме. Если моя мать на рынке видела, что торговец обвешивает ложными гирями покупателя, она поднимала крик. Не раз бывало, что моя мать, услышав жалобу на несправедливые действия фогта[1], отправлялась к нему, почти насильно таща за собою перепуганного жалобщика, и устраивала страшный крик и шум, грозилась и божилась, потрясала руками и обзывала начальника «мошенником», так что тот часто рад был уступить, лишь бы она угомонилась. Также я помню, что, бывало, она по часу спорила и кричала в лавке, если считала цену несправедливой даже на один вайспфенниг. Но очень часто бывало, что она давала пять или семь гульденов взаймы тем, о ком заранее знала, что долг они не отдадут. Кроме того, сердце ее было проникнуто жалостью ко всем несчастным, и зимой, когда снежные вихри, как псы, проносились по улочкам нашего Леонберга, она, вызывая гнев своих родителей, пускала в трактир ночевать нищих. Если же она зимой выходила выносить помои и видела умирающего от голода котенка, то брала его в дом, так что в зимние месяцы на кухне трактира живали до пятнадцати кошек и собак, которые в летнее время бродяжничали по окрестностям. Однако, давая деньги в долг или пуская нищих в дом, она считала своей обязанностью в навязчивом и поучающем тоне наставлять их на путь истинный и не стеснялась давать советы людям, втрое ее старшим.

Летом и осенью моя мать ходила по лесам и полям и собирала травы и коренья, чтобы потом обязательно ночью варить их, приговаривая заклинания. Она занималась этим многие годы, вплоть до того дня, как попала в тюрьму, и всегда делала это со злобным раздражением, как человек, которому, например, выпало несчастье объяснять пифагоровы теоремы корове... В памяти моей встает она в темной, красным пламенем освещенной кухне с черпаком в руке, приплясывающая и бормочущая, заглядывающая в горшок, над которым стоял пар, с широко раскрытыми бессмысленными глазами и улыбкой мести и предвкушения... Но никогда она не изготовляла ничего такого, что бы могло причинить вред человеку (я могу поклясться в этом), и те напитки, что она варила, заклиная демонов, по ночам, днем она относила больным или угощала ими соседей. Злобное же ее чувство, я полагаю, объясняется именно тем, что весь наш городок Леонберг со всеми двумя сотнями жителей ее раздражал, и тесно ей было в узком пространстве предопределенной женской судьбы, и оттого она всю свою жизнь, как птица о прутья, билась о жизнь, кричала, боролась за справедливость всеми доступными ей средствами, враждовала с соседями и фогтом и варила снадобья... И если она когда и летала на помеле над городом, как обвиняли ее во время процесса 1620 года, то только в эти ночные часы и только в собственном своем воображении.

Более материальной и физической ограниченности, свойственной всему живому, ее тяготила, неосознанно, я думаю, ограниченность духа, плененного в городке нашем Леонберге. Вы сами знаете, магистр Болан, как необразованны и ленивы бывают женщины из благородных семей, которые вполне довольствуются своей жалкой ролью живых приманок для богатых женихов. Что же говорить тогда о женщинах из Леонберга, которые вполне довольны были своей тупостью и, как черви в муке, копошились в слухах и сплетнях. Мужчин же в нашем Леонберге не было ни одного старше двадцати пяти лет, который бы не страдал время от времени от обжорства. Лица же у всех изза неумеренного питья были красны, как ободранные туши. Эта жизнь, да позвольте мне такое сравнение, была стена, отгораживающая пятачок, на котором пасся человеческий скот. В это стадо затесалась и моя мать, даже и внешне, стройностью и смуглотой, отличная от всех.

Я сказал, что все мужчины были толсты и красны, но был среди них один, который был не таков. Это был мой отец, Генрих Кеплер, такая же странность в Леонберге, как и моя мать, ибо и он даже и внешне был несхож с иными, похожими на бочки, и икры у них под чулками были широки и бугристы. Он же был тонок в бедрах и широк в плечах, на которых сидела его маленькая голова с рыжеватыми волосами и такого же цвета слегка вьющейся щетиной. Он ходил в черной рубашке, под которой угадывалось твердое, нервное и сильное тело. До двадцати трех лет он, ничему не учась и ничем не занимаясь, уповая на случай, который доставит ему приключение, ходил по трактирам в окрестностях Вейля-городка и в трактире же познакомился с моей матерью. Он был хвастун, и злой притом, так что, если кто не верил ему, он запоминал это и потом старался доставить этому человеку неприятность. Или распустить про него подлый слух. Они сошлись с моей матерью, и в этом я вижу закономерность, ибо два этих человека были равно отвержены людьми, жившими в городке нашем Леонберге, хотя отверженность эта до поры до времени тлела скрыто, прежде чем вспыхнуть ярко. Нельзя сказать, что они любили друг друга, хотя страсть тут, очевидно, была. Чувство, которое они испытывали друг к другу, можно скорее назвать раздражением, ибо они оба, как натуры желчные и лишенные покоя, постоянно раздражали друг друга одним своим присутствием под одной крышей, и в каждом из них постоянно находились силы и желание бросить вызов другому, так что их брак стал противоборством, когда они в соответствии со складом своих характеров только и делали, что искали способов уязвить друг друга. Постоянное взаимное изнурение, которого, как бы тяжко оно ни было, они все же оба хотели, а также то, что моя мать в октябре 1571 года, на пятом месяце, подверглась избиению со стороны ее родителей за то, что не хотела идти с ними в деревню за свиньей, послужило причиной того, что я родился, как я собственноручно вычислил, спустя 224 дня и 10 часов после зачатья, то есть в первой трети восьмого месяца, а день это был двадцать седьмой в декабре вышеназванного года, в половине первого часа пополудни.

Злые языки в Леонберге утверждали, что моя мать не любила ни меня, ни брата моего Кристофа, ни сестру Маргариту. Так говорили глупые люди, и признаюсь, я сам так думал иногда в отрочестве, обиженный ее резкостью и невниманием ко мне. Да, мой досточтимый и благородный друг, вы должны знать, что бывают разные виды родительской любви. В одних семьях каждое нравоучение смягчается поцелуем, и ребенка окружает мягкая пелена любви. Нет нужды говорить, что такая любовь противоречила природе моей матери. В других семьях не считают нужным скрывать, что ребенок не центр мироздания. В таких семьях ребенок не может претендовать на единоличное владычество над силами родительской души. Так было и в моей семье, где отец и мать, находившиеся в постоянном противоборстве, ко мне были суровы, так, что я должен был ждать от них необходимого, но не всего вообще. Потом же отец исчез, о чем я скажу ниже, и воспитывала меня мать. Она не дрожала надо мной, как иные матери, и часто я должен был ей напоминать, что хочу обедать; в ссорах и спорах с согражданами, которые часто длились неделями, мать забывала обо мне и только думала, как бы добиться победы в борьбе против скорняка или жены стекольщика. Также она бывала занята тем, что лечила своими травами и мазями нарывы и воспаления. Но, как не без удивления вижу я теперь, то главное и необходимое, в чем я нуждался для своего развития, она совершила, причем иногда делала она это по размышлению, а иногда — ведомая лишь материнским чутьем. Иначе я не могу объяснить, почему в 1578 году, июльской летней ночью, она вдруг разбудила меня, одела и, сонного и непонимающего, повела, взяв за руку, через спящий и темный городок наш к Крестовой горе и, взойдя на нее со мной

[1] *Фогт — должностное лицо, осуществляющее судейские и полицейские функции, а также сбор налогов.— Примеч. ред.*

через рощу и мимо пруда, показывала в черном небе яркую красную точку, будто живой огонек бежал по небу. Это была та самая комета, по которой Тихо Браге установил, что кометы не в атмосфере движутся, а много дальше. И ту комету я запомнил, и очевидно, по тому, что я рассказал, что в начале моего интереса к небу стояла моя мать, которая, так сказать, подняла мне голову вверх. Также считала моя мать необходимым, за что ей великая хвала, ибо такие разумные мысли не всем приходили в голову в Леонберге, дать мне образование, отчего и отвела меня собственноручно в латинскую школу и потом поддержала меня в решении поехать в академию в Тюбинген. Не буду скрывать, что моя мать вела меня в школу и отсылала в академию не без злобной радости лишний раз уколоть леонбергских сограждан, считавших образование блажью. Мать же моя, хоть сама и не умела ни читать, ни писать, прекрасно поняла, что для меня образование будет единственной возможностью выбраться из каменоломен на свет. Это решение отдать меня учиться она приняла хотя и сразу, как все свои решения, но потом, поддавшись злобно нападавшим родителям, которые давали нам деньги, заколебалась и заставляла меня иногда пропускать занятия и работать в огороде; но, на счастье, я был так слаб, так болел все время нарывами и мучился головными болями, что проку от меня не было никакого, и моя мать, когда мне было десять лет, окончательно предопределила меня в учебу, ибо стало очевидно, что это единственное, к чему я способен в жизни.

И в академию велела мне ехать моя мать, несмотря на то, что не могла мне дать денег, и профессор Местлин по доброте своей учил меня бесплатно. Я уходил в академию как раз тогда, когда моя мать была в ссоре с родителями мужа из-за того, что выгнала его из дому, а со своими родителями из-за того, что не хотела меня отдавать в учебу оловянщику, что они считали для меня самым лучшим. И они отказывались давать денег не только на поездку в Тюбинген, но и на еду нам, так что одно время мы ели одну кашу. Мать же моя не подчинилась и стала, насыпая лечебные порошки в мешочки, продавать их на рынке, за что ее позднее на суде обвиняли в корыстолюбии, как будто не жестокость родителей подвигла ее на это и как будто до этого и после, когда они помирились, она не раздавала лекарств бесплатно, хотя и с нравоучениями и поучениями.

Отправляя меня в академию, она дала мне один совет, следовать которому я мог всю жизнь только в одной его части. Этот совет она дала мне в вечер перед отъездом, когда мы сидели с ней в кухне, и на сердце у меня была радость оттого, что я отправляюсь учиться, но вместе с тем и грусть, ибо я предчувствовал, что оставляю мать на долгие годы. Она же, как всегда с намеренной громкостью гремя горшками и противнями, готовила наш скудный ужин и ходила по кухне, малая ростом, босая, похожая на белку легкостью и ловкостью своей. Жар сочился из-за чугунных заслонок, а мне все казалось, что это от нее идет жар, и смуглота ее была тому подтверждением. «Бедность, сынок мой (черт побери!), не беда! — так говорила она.— Только (чтоб тебя!) чем ты беднее, тем больше гордости имей. А совсем обнищаешь — зазнайся, словно ты князь земли! А вот если разбогатеешь (тут она захихикала), тогда стань смирным и шею держи пониже». Удивительно, мой честный и все понимающий друг, магистр и мудрец, достойный Болан, как не разумом, но чувством умела понять она, не прочитавшая в жизни ни строчки, равновесие богатства и духа!

В октябре 1616 года вдруг получил я письмо от моей сестры Маргариты, которая писала, что мать обвиняют в том, что она ведьма, что грозит процесс, что есть свидетели... Как гром раздался среди ясного неба! Моей матери было уже семьдесят лет, и хотя я знал, что она, как прежде, воюет в городке за справедливость, уличает торговцев и пускает ночевать в дом бродяг, все же я полагал, что в жизни ее ничего страшного случиться не может. И когда я был маленьким, я не раз слышал, что ее называли даже и родители ее «ведьминым отродьем», и эти слова приклеились к ней, так что их говорили и без намерения обидеть. Но я даже и после письма сестры некоторое время не принимал все это всерьез, ибо издалека, с высоты моего занятия я склонен был глядеть на дела старухи матери как на шалости ребенка, который никак не уймется... Да, долгое время не быв дома, в городке нашем Леонберге, я потерял масштаб, и все происходящее там казалось мне маленьким, тогда как никогда не был маленьким характер моей матери и — увы! — велика была злоба, скопившаяся в душах тех, кого она на протяжении полувека поучала, разоблачала, лечила, защищала и ругала!

Урсула Райнбольд была всем городом признана сумасшедшей. Брат мой, Кристоф, которого в отличие от меня и к его удовольствию сделали оловянщиком, изготовил для Урсулы Райнбольд дюжину оловянных тарелок. Сумасшедшая сочла их негодными. Брат обругал ее. Моя мать, случившаяся тут же, принялась громко восстанавливать справедливость, причем припомнила пять флоринов, которые дала в долг этой Райнбольд и которые та и не собиралась отдавать. Не из корысти она это вспомнила, а из чувства справедливости, ибо ей было свойственно не только давать, но и поучать. Райнбольд выскочила на улицу с криками, что ведьма виновна в ее болезни — могло ли быть что-нибудь глупее этого утверждения? Ведь она была больна задолго до ссоры. Но она, ковыляя по городу, убеждала всех, сама в это поверив, в том, что причиной ее болезни был напиток, которым моя мать за несколько лет до того действительно угостила ее, как угощала многих. Много ли надо времени, чтобы обойти городок наш Леонберг? — а она обошла его не раз, заталкивая в людей свое убеждение в том, что моя мать ведьма. Те и не очень-то сопротивлялись. Это ведь объясняло, почему она не такая, как они. Потом в один из дней пришел из Этлингена в город могильщик Фрайбергер, послушал, что говорят о моей матери, и рассказал, что моя мать приходила к нему с тем, чтобы он достал из могилы череп ее отца. Между тем Райнбольд все кружила по городу и твердила свое. И вот в город приехал брат Райнбольд, Урбан Кройтлин, который был цирюльником молодого герцога Ахилла Вюртембергского и потому пользовался уважением нашего фогта, который брал взятки за любые свои административные действия и не раз был уличен в этом моей матерью, которая к тому же лет за пятнадцать до этих событий отказалась отдать за него мою сестру Маргариту, объяснив это тем, что фогт вор (это во-первых), а также тем, что в нем слишком много веса для тоненькой Маргариты (это во-вторых). И она отдала мою сестру за тощего пастора. Фогт и Урбан Кройтлин, выпив, решили вызвать мою мать на допрос, хотя это было беззаконие; когда же ее привели, она начала упрекать их в том, что они напились как свиньи, а еще в том, что фогт, как она узнала, взял за услуги с одной вдовы целую корову, хотя по справедливости должен был обойтись свиньей. Цирюльник тогда вытащил шпагу и тыкал шпагой в грудь моей матери. Когда я думаю об этом сейчас, через несколько лет после того, как все кончилось и моя мать в могиле, это обстоятельство бесит меня, хотя смешно бешенство в столь слабом и тщедушном существе, каков я. Но шутя колоть шпагой в старческую грудь! — я скриплю зубами, думая об этом.

Наглость власти по отношению к моей матери показала всему городку, что она беззащитна, и люди ринулись свидетельствовать против нее, отталкивая один другого. Портной Шмидт, в детстве шивший мне чулки, обвинил мою мать в том, что она виновна в смерти двух его детей. Она же приходила в его дом помогать за ними ухаживать. Также мясник Фишер, у которого перемерли свиньи, утверждал, что моя мать ездила на них верхом по ночам. Но более всего доставили вреда моей матери слова, сказанные однажды при свидетелях пастору Эбингу, мужу моей сестры: «Нет ни рая, ни ада. От человека после смерти остается то же, что и от животных». В гордыне своей она дошла до того, что не побоялась повторить эти слова потом на суде, когда ее спросили, правда ли это было говорено ею?

Несмотря на то что весь город был настроен против моей матери, утром в августе 1620 года, когда присланные фогтом люди приехали к ее дому, они не рискнули, зная ее нрав, вести ее по улице и, вытащив старуху из постели,

силой заставили ее сесть в сундук, который вынесли из дома черным ходом. Так мою мать доставили в тюрьму в Гуглинген, ибо против нее было множество обвинений в колдовстве. Тут же действовала еще злая воля Урбана Кройтлина, герцогского цирюльника, о котором подозреваю, что более всего ему не хотелось платить пять флоринов за сестру и оттого он готов был довести дело интригами и нашептываниями до костра. В тюрьме же мою мать посадили на цепь, а был ей в ту пору семьдесят один год. Когда я получил письмо от сестры об этом, то пришел в смятение и, бросив все свои дела, стал собираться в путь, потому что понял, что моей матери нужен защитник, которым мог быть только я.

Оставив семью, учеников и кредиторов, я поехал в Гуглинген, где нашел мать в сыром подвале на соломе с железом на руках и ногах, которое весило больше ее самой. Она сильно исхудала и казалась еще смуглее, чем обычно. Неубранные ее волосы были совершенно седы, что больно удивило меня и напомнило, что я не видел ее много лет. Она была в унынии, проистекавшем от большой усталости, и стражник, добрый человек, сказал мне (хорошо, что не фогту), что она обещала ему 100 гульденов, если он выпустит ее. Излишне говорить, что таких денег у нее никогда не было. Увидав меня, она принялась голосом обиды, от которого у меня сердце зашлось, ибо не чаял я найти мою мать на старости лет в тюрьме, жаловаться на несправедливость и глупость ее сограждан, которые утверждали, что она ездила на свиньях, летала на помеле и умертвляла младенцев, тогда как она ничего такого не делала. Череп же она действительно просила достать и хотела, оковав его в серебро, послать мне в подарок, потому что слышала в церкви, что в древности так было принято среди князей вавилонских. Я пробовал ее утешать, но она, махнув рукой, села на солому и в ответ на мои слова отвечала только: «А... Не знаю, что делать!» Душа моя переворачивалась, когда я шел по улицам Гуглингена или ложился в чистую кровать в гостинице в то время, когда моя мать сидела на цепи в подвале и уныло твердила одни и те же слова.

Обвинение составило 49 пунктов, где пыталось изложить свои наветы. Логика этих людей была незрела, как будто это писали дети. В одиннадцатом пункте они говорили, что моя мать воспитывалась у ведьмы и, следовательно, сама ведьма; в тринадцатом — что заездила до смерти теленка и свиней, а так поступают ведьмы; в пятнадцатом — что уговаривала дочку Шутценбастиана участвовать в колдовских делах; в двадцать третьем — что пыталась для колдовских дел извлечь из земли череп; в сорок шестом — что чудовищными делами выгнала мужа из дома, а на это способна только ведьма; в сорок восьмом — что все, даже ее друзья и родители, звали ее «ведьминым отродьем», что доказывает, что она ведьма, потому что не бывает дыма без огня. Я помню все эти пункты до сих пор и до сих пор помню самодовольные лица свидетелей того, чего не было. Они говорили косноязычно в зале гостиницы «Три кедра», где был суд. Все было очень обыденно в те дни, и солнце светило ярко в окна, и в соседнем зале ели и пили, и, когда я уходил, мне в нос ударял тяжелый запах еды, от которого я в моем нервном состоянии едва не падал в обморок; и люди говорили обычными голосами, некоторые даже смущенно, и хлопала дверь, и звучали шаги, и стояла в углу печь, и я в этом покойном солнечном дне был парализован мыслью, все время бывшей во мне, что мою мать могут сжечь. Мне мерещился кошмар.

Хотя моя мать и была утомлена голодом и холодом, на суде она вела себя с обычной дерзостью, отчего у меня не раз замирало сердце. Мне хотелось, чтобы она была потише и побольше оказывала уважение суду, чтобы хоть так склонить его в свою сторону. Но мои мысли, которые я пытался внушить ей на расстоянии, не доходили до нее. Большую часть суда, когда шли выступления свидетелей, она сидела понурившись, будто цепи тащили ее вниз, но, когда к ней обращались с вопросом, она распрямлялась во весь свой маленький рост и отвечала с твердостью и не без вызова. Она отвергла все сорок девять пунктов обвинения и напомнила многим из свидетелей, как часто те приходили к ней за лекарственными напитками, несколькими флоринами или помощью в делах, когда требовалось спорить с фогтом. Фогту она напомнила, что он мошенник и вор и брал взятки даже с нищих за то, что не сажал их в тюрьму. Но новые улики против нее возникали одна за другой, и это было так, что нельзя было предусмотреть это заранее. Все обращалось против нее. Даже то, что моя мать никогда не плакала, подтверждало то, что она ведьма, ибо именно так было сказано в «Демонологии», которой пользовались судьи. И я из зала глядел на мою мать, маленькую сухую старуху в огромных башмаках, и думал, как мальчик, почему я не Самсон и не могу обрушить своды этого здания, чтобы камни погребли всех нас... Стражник же, добрый человек, вновь сказал мне, что ночью мать просила его выпустить ее из подвала: «Милый человек, выпусти меня отсюда, выпусти меня отсюда!» От переживаний я, как в детстве, пошел весь нарывами и язвами, и кожа у меня сходила клочьями, как кора с дерева.

Я писал герцогу Вюртембергскому и требовательно, и подобострастно, и упоминал в последней надежде, что я императорский математик, что вызвало, конечно, у герцога улыбку, и чувствовал бессилие, ибо мне противостоял некто невидимый, кого все называли правосудием, а по мне — это было кривосудие. Уже и дикая мысль продать все, что имею, нанять шайку лихих людей и напасть на тюрьму посетила меня, и я забывал и свои болезни, и свои невидящие глаза, и свой малый рост, и впалую грудь, которые изначально лишали меня права и мечтать о подвигах, как это делают все юноши. Короче, я был в большом отчаянии и смятении, когда герцог вдруг велел из-за невозможности решить дело логическим путем, ибо доводы обвинения он счел неубедительными, а доводы защиты недостаточными, допросить мою мать при палаче и при разложенных предметах пытки, не говоря ей, что пытка применена не будет. Если же она вновь будет все отрицать, отпустить ее на свободу. Таков был его приказ. Но все это я узнал потом, а в тот же вечер мою мать, не предупредив ни меня, ни сестру Маргариту, тоже бывшую в Гуглингене, взяли из подвала и привезли в другой, где при свете факелов были разложены перед ней щипцы, иглы, ошейники с шипами и крюки... На лавке сидел палач в фартуке. Фогт сказал ей, что велено пытать ее, если она не сознается, и спросил в последний раз, признает ли она себя ведьмой. Моя мать, которой я вечно буду гордиться за эту минуту ее величия, стоя прямо и держа свои цепи перед собой, отвечала дословно вот как, не раздумывая и со спокойствием, которое снизошло на нее в этот страшный миг: «Может быть, в пытках я и назову себя ведьмой, но это будет совершенная ложь». На следующее утро ее отпустили.

В городок наш Леонберг ни мать, ни я никогда больше не вернулись, потому что местные жители, на процессе часто выступавшие со смущением, будто сознавая, что делают плохое дело, после процесса взъярились как один и грозились убить мою мать, если она вернется, ибо каково было бы им видеть ее, победившую, постоянным напоминанием их подлости! Я увез мать с собой, и она прожила еще два года, подверженная приступам кашля и слабея от месяца к месяцу, хотя и в слабости говорила по-прежнему бойко и, движимая той гордостью, о которой уже шла речь, вспомнила однажды, что профессор Местлин учил меня в Тюбингене бесплатно тридцать лет назад, и ушла, несмотря на наши мольбы, в Тюбинген, так что мы провели неделю в страшном волнении, пока не пришло от Местлина письмо, которое сейчас предо мной: «Ваша матушка вбила себе в голову, что вы мне должны 200 флоринов, и принесла 15 флоринов и серебряный канделябр в уплату этого долга. Я посоветовал ей переслать это вам и пригласил ее пообедать со мной, но она отказалась; тогда мы выпили с нею вина из серебряной чаши, ибо, как вы знаете, ее вечно мучит жажда».

Собственноручно в городе
Линце в день шестой ноября
писано и запечатано
Иоганном КЕПЛЕРОМ.



со стр. 18 ▼

уместился у стены стол с детскими белыми весами, сестра пеленала только что родившегося человека. Странная крохотная фигурка, желтый кокон, из которого торчала головка с красным, как ошпаренным, личиком. И какие серьезные щеки! Еще не кончились для мамы муки, а дочка, которой было ровно три минуты от роду, уже предъявляла свои права, ее чудесное, сердитое, безбровое личико говорило всем своим выражением, что все взрослые — и мама, и врачи, и я, здесь очутившийся, и те миллионы людей, которых здесь нет,— все они, кем бы они ни были,— должны ей, еще не имеющей имени девочке, родившейся четыре минуты назад в городе Краснодоне,— должны ей по праву любовь, заботу, доброту — счастье.

Наутро я опять позвонил, ожидая услышать опять короткое и тяжкое: «Плохо»,— но вдруг: «Лучше, кажется, приходите ненадолго», и я понял, что соглашаться ей, собственно, не хотелось, ей не хотелось говорить — она знала, что разговор будет о сыне...

Она лежала на диване, головой к дверям, и оттого ей пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть меня, и я увидел ее лицо в необычном ракурсе, и на этом запрокинутом лице прежде всего увиделись глаза. Строгие. Настороженные. Я сел на стул у ее дивана. Все ее лицо было покрыто морщинами, над верхней губой было множество мелких, будто бритвой прорезанных, морщинок. И цвет волос — белый, абсолютно белый, как алюминий. Очки на маленьком носу, ноздри которого как бы самостоятельно расширялись и сужались. Дышала она тяжело, слышно.

Над диваном висело несколько крупных фотографий Олега Кошевого. И вообще в комнате, на стенах, за стеклами книжных полок, было много фотографий. На всех был Олег.

Надо было говорить. Но как?

Вопрос, которым я задавался все эти дни,— вопрос о том, как это вышло, что она, мать, одобряла сына в смертельном риске — вдруг, как только я сел на стул перед ее диваном, почувствовал на себе ее строгий настороженный взгляд, увидел фотографии Олега Кошевого, висящие на всех стенах,— вопрос этот потерял смысл. Что такое сорок лет для матери, которая потеряла сына? Потеряла сына вчера? Всегда вчера. И через сорок лет вчера.

Глаза ее, когда я спросил об Олеге, растерялись. Глаза удивились боли. И стали такими же удивленными и беззащитными, как у той женщины в той комнате, что плыла в осеннем свете между кронами деревьев.

— Вы знали тогда, что Олег занимался подпольной работой?

— Да, знала...

— Откуда?

— Он сам говорил... Когда стало известно о Зое Космодемьянской, он пришел ко мне и сказал: «Мама, если немцы придут, я не смогу им подчиняться. Я буду бороться, делать то же, что Таня...» Ее тогда все знали как Таню. И когда немцы пришли, он ничего не скрывал. Я все видела. Один раз вошла в комнату — он сидит с товарищами, увидали меня, стали прятать что-то... Олег встал, обнял меня и сказал: «Это моя мама, ребята, у меня от нее секретов нет...» А когда у них были заседания, он меня и бабушку Веру посылал на улицу: «Пойди, мама, погуляй, посмотри, чтобы никого не было».

— Но вы знали, что это может кончиться для него смертью?

— Знала (говорит ровно, бесстрастно, безнадежно, кажется, без чувств, а на самом деле придавленная одним чувством — горем). И один раз оставила его, чтобы поговорить. «Олежек, я все знаю... Подумай, чем это может кончиться. Не только для тебя, но и для нас всех. Для всей семьи. Для бабушки Веры, для дядя Коли, для двухлетнего Валерика... Расстреляют всю семью». Он сказал: «Ты знаешь, мама, я обо всем уже подумал. Все равно это только до первого немецкого распоряжения. Я не стану выполнять их приказов. Лучше я погибну в борьбе, чем так, покорно...»

— Что вы ему ответили тогда?

— Что ответила? Ничего... Я видела, что таково его убеждение, давно знала его мысли... Ведь я воспитывала его так всегда, что надо жить честно... я тогда старалась помогать ему как могла. Вот тут (кивает наверх, вероятно забыв, что это уже другой дом) у нас висела картина Шишкина, дорога во ржи. Он дал мне комсомольские билеты, чтобы я спрятала. Я спрятала их с задней стороны картины, за раму... И мне казалось, что я так хорошо спрятала... А когда пришли с обыском, как искали... Ааах! (горестно качает головой, кладет крупную, в коричневых пятнах, руку на сердце). У нас в ванной был бачок, вот такой (показывает размер: сантиметров тридцать), туда залезть никак нельзя было. А они, когда пришли, спрашивают меня: «А там никто не спрятался?» — «Да что вы, туда ж залезть нельзя! Там человек не уместится!» — Так они из автомата стреляли туда, есть ли там человек...

— А как думала бабушка Вера?

— Он знал, что она одобряет его в его борьбе... Один раз он принес в дом запалы от гранат и попросил ее спрятать. Чем это грозило, насколько это опасно было... Она спрятала их в чулок и опустила его в сливную яму под ванной.

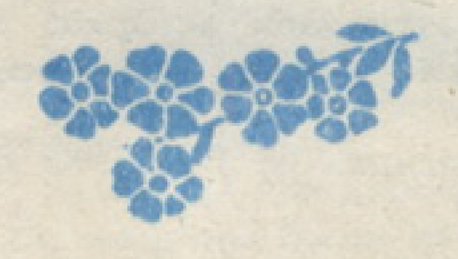
— Когда вы видели Олега в последний раз?

— Я... видела его в последний раз 11 января 1943 года. Он уходил... но не дошел туда, куда шел.

— Что он с к а з а л?

— Что. Он. Сказал (безнадежно). Не плачь, мама. Я... (долго молчит). В гробу я его видела седым, в его семнадцать лет... неполные. От того, что ему пришлось там вынести. Ведь он... я никогда его не наказывала, не шлепала... как я могла, он же слабее меня был. Посажу его рядом, обниму, говорю с ним так задушевно... А там... что ему пришлось вынести... сколько (ищет слова)... болевых ощущений, он к ним не готов был совершенно...

В тот день — четверг, 21 октября — Елене Николаевне Кошевой пришло несколько писем. Ей каждый день приходит по нескольку писем от людей, которых она большей частью никогда не видела. Я попросил эти письма почитать. Потом, когда относил обратно, узнал, что в конце недели ее кладут в больницу. И как-то в один ком, в одно ощущение слились в ту минуту, когда я уходил от нее, жизнь и смерть, разом вспомнилась та надпись на стене тюрьмы в Ровеньках, что выцарапала Люба Шевцова, и тот коридор в роддоме, широкий и кончавшийся окном. Навстречу мне там вдруг выехала каталка, на которой, все лежа на одном боку и смотря в одну сторону, туго спеленутые в одинаковые желтые пеленки, ехали десять новорожденных. Толкая каталку сзади, их везла сестра. Десять маленьких багровых лиц проехали мимо. Все они были, кажется, одинаковы, а все же глаз ухватил в секунду движения одно — очевидно,— девочкино — бледнее, чем у других,— с тихими открытыми глазами. И ошарашенно смотрел сестре вслед, а сестра торопилась, налегала на каталку, катила ее, сиял осенний свет, легкий, как счастье с каплей грусти. Столько жизни, столько счастья, столько любви им предстояло. А Люба Шевцова выцарапала на кирпичах тюрьмы в Ровеньках (гвоздем? ключом?) — выцарапала, когда уже знала, что будет смерть: «Мама, тебя сейчас вспомнила».



Мне всегда казалось обязательным возвращение сюда, когда бы оно ни произошло. Восемь лет назад я уехал из этого Дома — уехал домой из Дома, который был моим настоящим домом в течение семи лет. В Португалии я мало занимался воспоминаниями. Было много дел [1]. Просто иногда я вынужден был сравнивать настоящую жизнь, которой я занимался и в которой было много проблем и были враги и была опасность ошибок,— с жизнью нашего Дома, где настоящим, стоящим, было для меня все: настоящим были друзья — они неизменны в моем серд-

Жузе СЕРРА,
бывший воспитанник Ивановской интернациональной школы-интерната имени Е. Д. Стасовой,
Е. СТЕЦКО (фото)



ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОЛГА



це! — настоящей доброта, мечта, вера... Я постарался унести эти чувства с собой и сберечь их.

Так же я берег все эти годы многие мелочи, которые, если их перечислить, вам покажутся несущественными: дорогу к этому дому, которая от большой улицы как бы направляется в лес, она упирается в сосны, они просвечивают зимой, а летом непроходимо темны; сам дом с фонтаном перед ним, с вишневым садом; звуки этого дома — шум коридоров, голоса урока, шум самой тишины по вечерам...

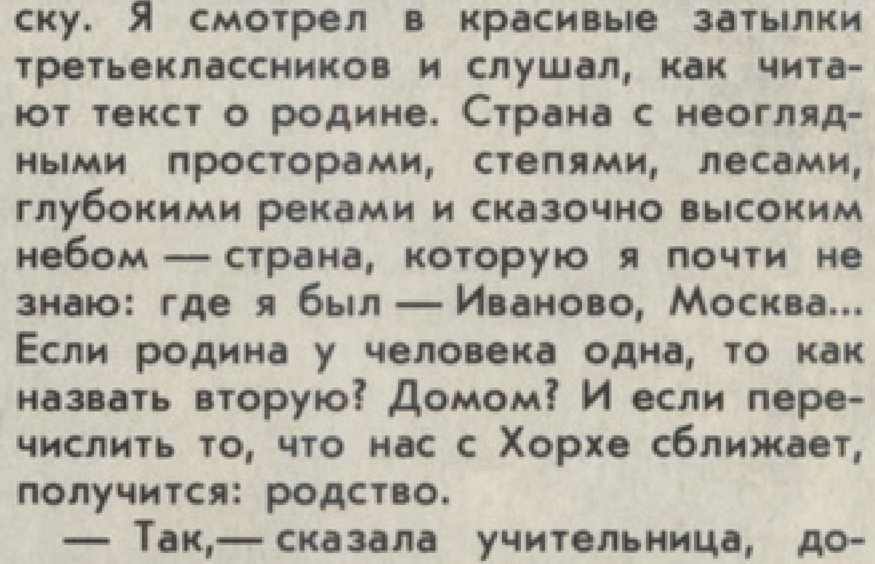
Нужно ли повторять вслед за всеми, кто примет участие в праздновании пятидесятилетия Ивановского интердома, что время, проведенное в нем, приносит человеку ощущение долга? Я повторю. Но как возвратить этот долг! Мне рассказали историю мальчика, который прожил в интердоме всего год. Он уехал — и вырос вне Дома. Он потратил много времени и сил, чтобы уже взрослым заработать деньги на поездку в СССР. Потом он сказал, что «перемыл все»: он мыл автомобили и посуду в кафе и так копил деньги для того, чтобы приехать. Он приехал на один день. Он вышел перед интердомовцами и сказал то, что собирался сказать все эти годы, потраченные на исполнение мечты. Он сказал, что в Иванове прошло его счастливое детство. Неважно, что длилось всего год. У некоторых счастливого детства нет вообще. А у него было — год. Сказал и уехал. В интердоме его звали Стив «Ноги». Должно быть, такие длинные были у него ноги. Ведь в интердоме замечают все. Поэтому жить потом трудно и легко. Легко — потому что в интердоме ставят характер, так же как музыканту «ставят руку». И некоторые некрасивые вещи ты не сможешь себе позволить. И даже обыкновенные, но слабости, пожалуй, тоже. Ты же интердомовец, ты вырос среди таких товарищей, которые не простили бы, узнав, как нехорошо ты начинаешь меняться, бывший интердомовец. Поэтому те, кто отсюда вышел, стараются не становиться бывшими. Они интердомовцы всю остальную жизнь.

А трудно — потому что интердом





[1] *См. «Ровесник» № 5 за 1982 год.— «Вестники».*









уходит от тебя. Формально, уходишь ты сам: уезжаешь, потому что на родине стало легче (так было с нами — португальская группа покинула интердом, когда в Португалии произошла революция, мне было тринадцать) или потому, что ты вырос. А чувство такое, что интердом покидает тебя: уходит он, с фонтаном и садом и с прочной защитой, которой он был. Ему не нужно возвращение долгов. Он забывает нас с другими, такими же, как мы. А мы стремимся, грезим возвращением — и приезжаем когда-нибудь...

Вот я приехал. Была зима. Меня узнали. Меня останавливали, обнимали, хлопали по плечу. «Боже мой! Ах! Ты вырос. А был маленький-маленький.



Однажды ты спрятался с Альбертом за ширмами и все вас искали, сбились с ног — ты это помнишь? Ты болел. Где теперь Альберт? Где Луис? Где Лена, Сесилия, Мария-Арманда? Все идите сюда, оказывается, у нашей Сесилии уже маленькие дети!»

Но один человек, подойдя, сказал:

— Кто же это? Братик нашего Хорхе?

— Да нет же, нет! — замахали на него.

Я пошел искать Хорхе, потому что понял, что тот человек не ошибся — он в принципе глубоко прав. Я нашел Хорхе в третьем классе, он сидел у окна перед учительским столом. Я сел на последнюю парту с разрешения учительницы, которая обняла меня и вспомнила, хотя я не был ее ученик. Мне было немного неловко оттого, что класс встал при моем появлении. С последней парты я разглядел предметы моего детства, общего с Хорхе: родное чучело вороны, уткнувшейся в глобусную Атлантику, и счеты, и доску. Я смотрел в красивые затылки третьеклассников и слушал, как читают текст о родине. Страна с неоглядными просторами, степями, лесами, глубокими реками и сказочно высоким небом — страна, которую я почти не знаю: где я был — Иваново, Москва... Если родина у человека одна, то как назвать вторую? Домом? И если перечислить то, что нас с Хорхе сближает, получится: родство.

— Так,— сказала учительница, довольная чтением,— а теперь пусть кто-нибудь расскажет о своей родине.

Я не понял сначала выражения ее лица, когда Хорхе, круглый, маленький и быстрый, выбежал к доске как первый ученик.

— Моя страна — Гватемала,— начал он.— Там сейчас война.— Он замолчал, но быстро поднял голову и посмотрел прямо на меня.— Мой папа... он работал в профсоюзе. Однажды папа и мама пошли провожать старшего брата. Когда они вернулись, там стояла какая-то машина...

— Хорхе,— тихо сказала учительница.

Хорхе сидел за своей партой, спрятавшись от всех. Я подошел к нему на перемене. В интердоме не принято назойливо утешать. Кто-то успел подарить ему, будто бы мимоходом, синюю пластмассовую дудочку. Я мимоходом посоветовал, как нужно играть. Он дунул, сидя на подоконнике, за которым была зима и сосны нашего родного Дома.

— Смелее,— сказал я.— Звук должен получаться сильным.

А хотел я сказать вот что.

Хорхе, мой младший брат. Поверь мне, слезы — не признак слабости. Может быть, это даже верный признак мужества, честное слово! Потому что и слез надо научиться не бояться. Ты недавно приехал. Уверяю тебя: ты никогда не будешь одиноким в нашем Доме. Вот этого здесь нет. Никогда не было. Хочешь, спроси учителя испанского Юрия Игнатьевича. Он из испанских еще детей, воспитанников интердома. Все, что угодно, научишься ты переживать,— но не одиночество. Здесь этому не учат — и не готовят.

Но когда-нибудь ты уедешь. Знаешь, мы с Альбертом написали из Португалии письмо в интердом, а нам никто не ответил. Так было обидно. А потом мы подумали: конечно, мы же в порядке, им просто не до нас... И ты тоже напишешь, куда же ты денешься, родной интердомовец. И можешь не получить ответа, потому что все силы интердома будут нужны другим. Твоя учительница сказала мне: «Трудно! Их всех начинаешь любить». Она счастливый человек, я ей хотел сказать об этом. А когда-нибудь потом ты вернешься, пробиваясь через границы, дела и полную невозможность приехать. Пройдешь через наш сад. И...



ЛУЧШАЯ КОСМЕТИКА — ФИЗКУЛЬТУРА

Плюс правильное питание и режим. Такой совет дает известная американская киноактриса Джейн Фонда женщинам, которые стремятся быть привлекательными. Оказывается, таких немало — написанная Фондой на эту тему книга стала в США бестселлером. На занятия в ее спортивный зал могут приходить все желающие. Недостатка в посетителях нет. Многие матери приводят и даже приносят с собой дочерей — чем раньше начать, тем лучше. И самочувствие и у тех, и у других, как видите, отличное.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Борьба с демонстрантами, выступлениями безработных, пикетами бастующих — дел у западногерманских полицейских по горло. А чтобы в деле, не дай бог, не ударить лицом в грязь, необходимо без устали отрабатывать удары и другие приемы, необходимые для «охраны» общественного спокойствия. Н а с н и м к е: западногерманские полицейские репетируют разгон демонстрации. А на специальной платформе расположились зрители — представители власти. Полиция играет сразу две роли — свою собственную (команда в полном боевом облачении) и роль демонстрантов. Конечно, репетиция отличается от «настоящего» дела, но уж зато в настоящем деле удары дубинкой будут поражать «нарушителей порядка» без промаха.



ФАНТАСТИКА

О Рэе Брэдбери писали много, и всегда считалось необходимым подчеркнуть одну деталь: автор книг о полетах к иным мирам сам никогда не летал на самолете. И вот свершилось: писатель впервые сел в самолет. «Думаю, что не скоро снова решусь на такое,— сказал он после посадки,— у меня все время было ощущение, что самолет держится в воздухе только силой моей воли».





Вы спрашивали

ПОЧТИ «БИТЛЗ»

Три года назад в английских музыкальных газетах появилось объявление: «Для исполнения главных ролей в спектакле «Битломания» требуются молодые люди, внешностью и голосом похожие на «Битлз». Из множества претендентов выбрали четырех, и выбор оказался удачным. Пол Маккартни, посмотрев спектакль, признался: «Это невероятно, но сегодня я видел на сцене самого себя». Избранная четверка (сами большие поклонники «Битлз») теперь выступает под именем «Бутлег Битлз» («Ненастоящие Битлз»). Ансамбль много гастролирует, в прошлом году посетил нашу страну. Те, кто побывал на их концертах или видел выступление по телевидению, наверное, согласятся, что песни Леннона и Маккартни звучат в исполнении «Бутлег Битлз» почти как оригинал. Почти...

ЧТОБ СКАЗКА СТАЛА БЫЛЬЮ



Фотографам, сделавшим эти снимки, сказочно повезло: запечатленные на них представители фауны в природе уже почти не встречаются. Сейчас они находятся под защитой Всемирного фонда охраны природы, усилиями которого уже удалось предотвратить исчезновение с лица Земли 33 видов животных и птиц. Фонд существует за счет добровольных пожертвований частных лиц и организаций, в его документах сказано: «Мы нуждаемся не только в материальной, но и в моральной помощи со стороны всех, кто верит в сохранение природы для будущих поколений».



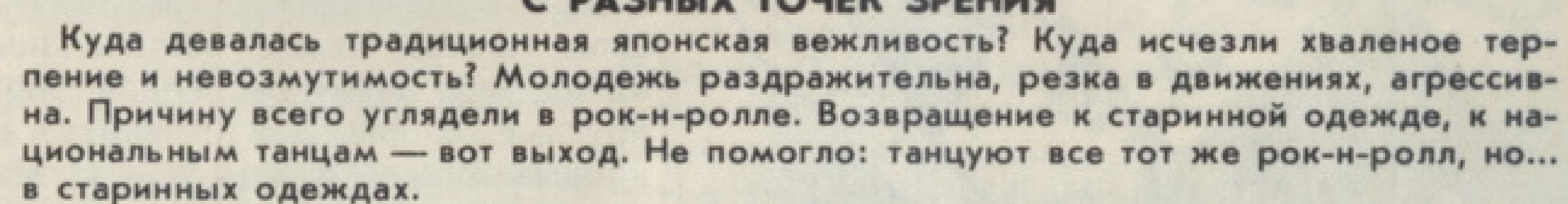
КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ

«Если ты серьезный музыкант — вступай в армию!» Это неожиданное на первый взгляд решение предлагает американский музыкальный журнал «Роллинг стоун». Оказывается, все просто: «Армейские оркестры выступают по 40 раз в месяц — это ли не отличная школа! В армейских оркестрах ты можешь играть с лучшими музыкантами страны. Армейские оркестры дают возможность повидать мир: Японию, Западную Европу...» И другие места, где расположены американские военные базы, на территорию которых «несерьезным» музыкантам вход воспрещен.









С РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

Куда девалась традиционная японская вежливость? Куда исчезли хваленое терпение и невозмутимость? Молодежь раздражительна, резка в движениях, агрессивна. Причину всего углядели в рок-н-ролле. Возвращение к старинной одежде, к национальным танцам — вот выход. Не помогло: танцуют все тот же рок-н-ролл, но... в старинных одеждах.

А за океаном, в США, рок-музыку считают зеркалом времени: например, в бродвейском мюзикле «Рок-н-ролл: первые пять тысяч лет» собраны песни, рассказывающие о бомбардировке Хиросимы, убийстве Мартина Лютера Кинга, о безработице, борьбе за мир.



Рис. С. ТЮНИНА

СЛИВКИ ОБЩЕСТВА

Кен УИТМОР,
английский писатель

Рассказ



Когда я возвращалась в школу после обеда, мне повстречалась по дороге знакомая девчонка.

— Ты Антее зуб выбила,— сказала она,— тебе за это попадет.

Меня охватил страх: я очень боялась мисс Марьят. Не то чтобы она запугивала нас — никогда, просто она была очень неприятная особа.

У подъезда стояла Антея — губа вздута, кусочек зуба отломан, веки набрякли от слез. Нам было велено сразу же после начала занятий явиться в кабинет мисс Марьят.

Это была очень просторная комната с окном-фонарем, выходившим в сад. Раньше дом принадлежал какому-то аристократу, и здесь, наверное, была гостиная. Камин был отделан мрамором в стиле Адама[1], а прямо перед ним располагался огромный письменный стол: во всяком случае, сейчас он представляется мне огромным. За ним восседала мисс Марьят — высокая, худая, в неизменно строгом учительском платье, седые волосы зачесаны назад, нос крючком, глаза черные и круглые, словно два отпечатка выпачканных сажей пальцев,— с выражением печали на лице. Она была великая печальница, наша мисс Марьят. Ни мне, ни Антее вовсе не хотелось рассказывать ей о том, что произошло, но мало-помалу все вышло наружу. Мы подрались из-за моей шляпки.

Я не пользовалась пансионом при школе святой Агнессы и каждый день ездила домой обедать. Стоило мне пропустить двенадцатичасовой автобус, и я возвращалась в школу с опозданием. Моя подруга Антея Харди знала, что мне нужно поспеть к автобусу.

В тот день я, как всегда, торопилась в раздевалку, чтобы поскорей одеться и бежать к автобусу. Школа стояла на горе, и сверху была видна конечная остановка. Когда к ней подходил большой красный автобус, можно было разглядеть его крышу, а если мотор не выключали, даже было видно, как он трясется и подрагивает.

Я уж совсем собралась, как вдруг Антея схватила мою шляпку. Я не могла выйти с непокрытой головой: ученицам нашей школы разрешалось появляться на улице только в форме, а это означало прежде всего в шляпке, одетой скромно, без всяких кокетливых выкрутасов. Зимой мы носили шляпы из синего велюра с голубой в кремовую полоску лентой. Летом их заменяли соломенные канотье с очень широкими полями, по прозванию «беконные ломтерезки». Помню, с меня сдуло однажды такую шляпу прямо под колеса проезжавшей мимо машины, так мисс Маграч, учительница математики, подобрала ее с дороги, расправила искромсанную тулью и заставила меня ее надеть.

Напрасно я пыталась вернуть свою шляпу по-хорошему. Антея затеяла мне назло игру в «перекидочку» с кем-то по ту сторону раздевалки, а тем временем к остановке подкатывал красный автобус, который мог уйти каждую минуту. И тогда я ударила Антею. Из разбитой губы потекла кровь, и это было последнее, что я увидела. Схватив шляпу, я помчалась через дорогу и, ухватившись за поручень, на ходу вскочила в автобус.

Мисс Марьят очень рассердилась и приказала нам немедленно встать на колени и молить бога о прощении. Школа при церкви святой Агнессы считалась образцовой: еще бы! Мы вызубрили «Магнификат»[1] назубок и только и делали, что кланялись и крестились, будто истовые католики.

Я чуть было не попала в католическую школу при монастыре. Школ было две — в каждом конце поселка. Я пошла в голубую — школу святой Агнессы. Ее воспитанниц прозвали «васильками». В другом конце поселка стояла монастырская школа. Форма там была коричнево-желтая, и воспитанниц называли «осами». Помню, родители спрашивали, в какую школу я хочу пойти. Нашли что спрашивать! Когда тебе одиннадцать, ты всегда выберешь

К е н У и т м о р (родился в 1949 году) — молодой английский писатель. Педагог по образованию, Кен Уитмор пишет о тех, кого хорошо знает и любит, о детях.

[1] *А д а м — известный английский архитектор XVIII века, работавший в области интерьера.— Здесь и далее примеч. пер.*

[1] *«М а г н и ф и к а т», «В е л и ч и т д у ш а м о я» — хвалебная песнь, часть английской вечерней службы.*

ту, где красивее форма. Синий цвет вообще несравненно лучше и элегантнее. Мы носили синие расклешенные юбки и кремовые блузки с очень милыми голубыми галстуками с кремовой полоской по диагонали, а летом — синие льняные платья в клетку. Зимой мы надевали пушистые твидовые пальто с широкими поясами и кожаными пуговицами. Они стоили фантастически дорого. Не представляю, как мой отец осилил такую покупку.

Так вот, мисс Марьят, похожая глубоко запавшими глазами на святого Бернарда, приказала нам опуститься на колени. Но на меня нашел стих, как это иногда со мной бывает,— не верю во всю эту ерунду! Я решила не поддаваться. Антея же, моя смазливая подружка, была слабохарактерная подлиза. К любой учительнице умела подольститься. С нее и сейчас стало бы — бухнуться на колени и молиться, но я наотрез отказалась: не было за мной такой вины, чтоб просить у бога прощения. Глядя на меня, и Антея решила проявить твердость.

Мисс Марьят отпустила нас, приказав явиться на следующий день в то же самое время. На сей раз вышло помоему. На лестнице я пригрозила Антее: только вздумай молиться, и других зубов недосчитаешься!

Целую неделю мисс Марьят ежедневно вызывала нас и отчитывала. Представляете, каково это — отстаивать свои права в одиннадцать лет? Но мы считали, что драка касается только нас двоих и никто не должен вмешиваться, тем более впутывать в это дело бога. Мы уж и думать позабыли об этом случае, дружили как прежде, катались на пони по воскресеньям, но мисс Марьят все донимала нас с этой молитвой.

Как-то в понедельник она вызвала нас поодиночке, и Антея тут же плюхнулась на колени. Пришел мой черед. Для меня отказ молиться уже стал делом чести. Я воображала себя Эдит Кавел[1] перед расстрелом. Но для мисс Марьят заставить меня молиться тоже стало делом чести.

— Изобел Комптон,— заявила она,— бог не любит строптивых. Вы уж и так прогневали его.

Глаза у нее запали еще глубже, и я даже заглянула ей в лицо — убедиться, что они не исчезли вовсе. А намекала она на мою работу: я разносила газеты по утрам. Натянув для тепла ярко-желтые парусиновые брюки и фланелевую школьную курточку, я бежала на работу с большой брезентовой сумкой, на которой было написано название газеты «Ньюс оф зе уорлд». Мисс Марьят поднималась рано, а так как пансион находился на другом конце поселка, она шествовала в своем учительском одеянии по главной улице как раз в то время, когда я проносилась мимо с брезентовой сумкой для газет в школьной куртке и ярко-желтых брюках. И конечно, она прицепилась ко мне с этой работой.

— Воспитанница школы святой Агнессы не должна заниматься таким делом,— сказала она.— Это противно воле божьей.

— А моя мама считает, что работать только на пользу,— возразила я.— Мне все равно придется работать, когда вырасту.

Это никак не вязалось с принципами школы святой Агнессы. Ее выпускницам никогда не приходилось зарабатывать себе на жизнь. В конце концов был достигнут компромисс: я продолжала разносить газеты, но при этом не надевала школьную форменную куртку.

Мои родители держали небольшую лавку скобяных и гончарных изделий — деревянный сарайчик с тентом и откидным прилавком, где выставлялся товар, а сами мы жили в плавучем доме на канале, старой сырой барке. Родители думали, что дают мне потрясающее образование в этой школе святой Агнессы. Они гордились, что делают для меня все, что могут. Ведь один только семестр моей учебы в этой школе обходился им в пятьдесят фунтов, значит, в год они выкладывали целых сто пятьдесят фунтов. Родители надеялись, что учение пойдет мне на пользу, а потому отказывали себе во многом, жили в старой барке на канале и убивали все силы на эти горшки и плошки, чтоб я училась в школе святой Агнессы.

А мне, как назло, вспоминаются разные неприятные случаи в этой школе. Взять хотя бы ту противную девчонку, как сейчас вижу ее перед собой — белесую особу с жидкими волосенками. Я шла домой, толкая перед собой велосипед, а она попалась мне навстречу. День был осенний, и сухие листья с шелестом носились по дороге.

— Гляньте-ка,— говорит она своим тупицам подружкам, чтоб все слышали,— эта Изобел Комптон такая сорвиголова, что даже листья от нее в стороны шарахаются!

Подлиза несчастная! Я бы ей запросто могла свернуть шею, просто связываться не хотелось. Один-единственный раз я вышла из себя — из-за той злополучной шляпки. А вообще я была очень спокойная и выдержанная, прямо стоик. Даже по фотографиям того времени это видно: круглая приятная мордашка, короткая стрижка, скромная челочка — и непременная улыбка.

Мисс Марьят кормила золотых рыбок в аквариуме у окна и, поглядывая на меня через плечо, говорила:

— Терпенье божье иссякает, Изобел Комптон.

У меня колотилось сердце и пальцы невольно сжимались в кулаки, но я сдерживала себя и смотрела в окно на зеленый газон, тянувшийся до самой дороги. По его краям росли рододендроны, как в парке.

— Изобел,— спросила она,— вам здесь не нравится?

Я никогда не задавала себе этого вопроса и сначала даже не могла понять, к чему она клонит. Это было все равно что спросить: «Вам не нравится в Англии? Вам не нравится на этой планете?» Да, меня раньше обижали в школе святой Агнессы, меня обижали и сейчас, но и я к ней привыкла. Здесь было тепло и уютно, мне вовсе не хотелось отсюда уходить. Здесь были друзья. Были и враги, но я хотя бы о них знала. А в новом месте будет новая гадость, даже думать об этом противно. Вы уж, наверное, решили, что школа святой Агнессы — жуткое место, но — пусть это покажется вам странным — я ее полюбила. Что она дала мне, так это потрясающую уверенность в себе. Хочешь не хочешь, за пять лет воспитанницам вдалбливали в голову, что они лучшие из лучших девушек страны.

— Изобел, я еще раз спрашиваю: вам не нравится здесь?

Я гордо подняла голову и, глянув прямо во впадины, где затаились ее глаза, ответила:

— Нет, мисс Марьят, нравится!

Теперь я знала, что надо делать.

— Если вы хотите остаться в школе, ведите себя как подобает цивилизованному человеку,— изрекла мисс Марьят, очевидно позабыв, из-за чего все началось.— Мы прививаем своим воспитанницам благонравие, ведь в будущем именно им предстоит определять норму поведения в нашем обществе.

Не помню точно, добавила ли она, что этим воспитанным леди предстоит еще и служить образцом для низших сословий.

И тогда я опустилась на колени и стала истово молиться, наблюдая сквозь прищуренные ресницы, с какой благочестивой радостью взирает мисс Марьят на мои губы, шепотом возносящие молитвы.

— О, боже,— молилась я,— о, боже, покарай эту упрямую старуху. Пусть у нее выпадут все зубы, а голова облысеет. Пусть ее золотые рыбки задохнутся от костяной муки, которой она их пичкает. Пусть попечители уволят ее за пьянство. И прости меня, боже, за то, что я пошла по легкому пути, но молить прощения из-за какой-то шляпки было бы еще бесчестнее. Антея сама во всем виновата, и ты это знаешь, если ты вообще что-нибудь знаешь, в чем я сомневаюсь, да, в чем я сомневаюсь. Аминь.

Я поднялась, оправила юбку и серьезно, насколько мне это удалось, посмотрела на учительницу. Она подошла и, пожав мне руку, сказала:

— Я всегда была уверена, что в вас есть все задатки, чтобы стать достойной воспитанницей школы святой Агнессы, и с этого дня мы начнем их выявлять.

Перевела с английского
Л. БИНДЕМАН

[1] *Медсестра, английская героиня второй мировой войны. Отказалась оставить раненых и была расстреляна немцами.*



Уважаемая редакция!
Расскажите, пожалуйста, об известном английском ансамбле «Алан Парсонз проджект».

С уважением Игорь Миллер, Свердловск

МУЗЫКАНТ-НЕВИДИМКА

Жан Марк БЕЙО,
французский журналист

Он не поет, не играет толком ни на одном инструменте, не дает концертов, не появляется на экране телевизоров. Он не ошеломляет своих поклонников экстравагантными выходками и сногсшибательными туалетами. А между тем поклонники у него есть, и не только в Англии. Любителям рок-музыки знакомо его имя.

Да, вы угадали, это Алан Парсонз, и профессия его — инженер звукозаписи.

Сам он говорит о себе так.

— Мне всегда хотелось быть музыкантом. В детстве я перебрал разные инструменты: играл на пианино, гитаре, флейте. Учителя всегда отмечали мое усердие, но не больше. Другое увлечение — электроника. Сидел над схемами, мастерил радиоприемники, экспериментировал со звукозаписью. Когда я услышал пластинку «Битлз» «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера», я понял: все мои эксперименты со звуком — детская игра. Да так оно и было. Зато у меня появилась мечта — попасть на студию, где записывались «Битлз». Трудность была в том, что такую мечту лелеяли тысячи любителей рок-музыки. Но повезло именно мне. Я согласен был на любую работу. И действительно, вначале работенка была так себе — в основном перематывал пленки. Да и «Битлз» увидеть долгое время не удавалось. Но мое знаменитое усердие, наверное, сработало и здесь. Мне стали поручать и операции посложнее, чем перематывание пленки. А когда «Битлз» записывали «Эбби роуд», я уже был первым ассистентом инженера звукозаписи.

Когда Маккартни записывал свой первый сольный диск, он пригласил меня как инженера звукозаписи. Работать с ним было очень интересно, и школу я прошел отличную. Маккартни требовал идеального звучания каждого инструмента, каждого аккорда. И мы в конце концов добились своего.

После выхода этой пластинки Парсонз приобретает известность среди музыкантов как отличный специалист. Он работает с «Пинк Флойд», «Холлиз», Элом Стюартом, Джоном Майлсом, Лондонским симфоническим оркестром.

— В то время запись шла по сеансам,— рассказывает Алан Парсонз,— три часа в день. Так что я понятия не имел, с кем мне придется работать завтра. Да что там завтра: утром я записывал симфонический оркестр, днем — музыкальную комедию, вечером — рок-группу. Это был настоящий университет. Я мог наблюдать, как работают лучшие продюсеры, звукооператоры, музыканты...

Мне повезло еще, пожалуй, и в том, что буквально на моих глазах совершался переворот в звукозаписи: появились многоканальные магнитофоны, стереодиски. Техника вторгалась в музыку, становилась соучастницей творчества музыкантов.

Одним из первых ансамблей, оценивших перспективы соучастия техники, был «Пинк Флойд». Они первыми применили раздельную запись инструментов с последующим наложением. Над пластинкой «Обратная сторона Луны» мы работали в студии целый год. Мы изобретали новые приемы записи, мы радовались, как дети, когда после многих разочарований добивались, наконец, устраивавшего нас звучания. Можно сказать, что эта пластинка была экспериментом и, к счастью, удачным. Тогда у «Пинк Флойд» появилась мысль записать диск вообще без участия музыкальных инструментов. Вместо них — консервные банки, бутылки, всякие железки. От их звучания должна была родиться удивительная музыка. Ах, как мы старались! Мы хотели сказать новое слово в звукозаписи! Месяц мы провели в студии без сна и отдыха, а потом выяснилось, что в нашем распоряжении всего три минуты записанной музыки...

Вскоре был создан ансамбль «Алан Парсонз проджект». Впрочем, слово «ансамбль» в данном случае не совсем точно, потому что исполнители — певцы и музыканты — в нем не играют главную роль, хотя имена их всегда указаны на пластинках. Ядро коллектива — сам Алан Парсонз, поэт и композитор Эрик Вулфсон и композитор-аранжировщик-дирижер Эндрю Пауэлл. Парсонз предлагает общую идею пластинки, Вулфсон на этой основе пишет музыку и тексты, Пауэлл ее аранжирует, дирижирует при записи симфоническим оркестром. Инженер звукозаписи и продюсер — Парсонз. Это, пожалуй, первый коллектив, в котором сами музыканты играют столь малую роль. «Музыканты приходят и уходят, состав их постоянно меняется,

но мозгом нашего ансамбля был и остается Алан»,— говорит Вулфсон.

Первая пластинка группы «Алан Парсонз проджект» «Рассказы о загадочном и воображаемом» была создана по мотивам рассказов Эдгара По и с музыкальной точки зрения представляла собой весьма интересную смесь рока, джаза, авангардной и классической музыки. «Возможно,— говорит Парсонз,— в некоторых местах наша музыка похожа на музыку других композиторов. Я слишком много времени провел в студии и иногда невольно копирую тех, с кем работал. Хотя я делаю все, что в моих силах,— стараюсь брать только лучшее».

Если в отношении оригинальности опыт студийного оператора оказал Парсонзу медвежью услугу, то, безусловно, помог ему в другом: по звучанию пластинки «Алан Парсонз проджект» совершенны, и любители рок-музыки угадывают их в первые же минуты.

Следующие диски — «Я, робот» и «Пирамида» закрепили успех ансамбля. Они состояли из нескольких произведений, объединенных общей сюжетной линией. Такой принцип построения пластинки дал критикам повод назвать Парсонза «интеллектуалом рок-музыки». Его нежелание давать концерты и выступать по телевидению кое-кто истолковал как попытку искусственно окружить себя ореолом таинственности. Парсонз объясняет это проще. У него есть несколько принципов, от которых он не хочет отказываться. Принцип первый: не выступать по телевидению и не давать концертов. «Выступать нам пришлось бы под фонограммы, а это уже надувательство. Правда, так делают многие, но разве это может быть оправданием?» Принцип второй: не записывать пластинку до тех пор, пока не созрела ее основная идея. «Если нечего сказать, лучше помолчать и собраться с мыслями». Принцип третий: не использовать то, что не связано с музыкой, для ее успеха. «Чем больше занимаешься самой музыкой, тем больше вероятности, что она будет хорошей. А зарабатывать славу эксцентричной внешностью или скандальными выходками во время концертов — дело, недостойное настоящего музыканта. Музыка должна говорить сама за себя. И проверить, хороша она или нет, можно, лишь оставаясь в тени. Ведь приятно, когда пластинки покупают только ради музыки, а не из любопытства или ради престижа».

Перевел с французского
Л. ЗАХАРОВ

АРТИСТ С ЗОЛОТЫМИ НОГАМИ

Рольф КУНКЕЛЬ,
западногерманский журналист

— Он гений! — утверждает тренер национальной сборной Аргентины Цезарь Луис Менотти.— Он проделывает ногами такие штуки, каких простой смертный и руками-то не сделает.

Речь идет о Диего Армандо Марадоне, который в свои 23 года снискал славу лучшего футболиста мира. Природа снабдила его компактным туловищем и парой мощнейших ног. Грива черных кудрей обрамляет бесстрастное, почти угрюмое лицо — лицо индейца.

Хотя аргентинцы и относятся к испаноязычным нациям, однако в этой стране иметь испанское или, еще того хуже, испано-индейское происхождение без малейшей примеси английской, немецкой или итальянской крови — значит быть поставленным на самую нижнюю ступеньку социальной иерархии. Именно на этой ступеньке изначально оказался Диего Марадона.

Диего исполнилось девять лет, когда он стал зарабатывать, играя в мяч, и получил возможность каждый день есть горячую пищу. В поисках талантов на Диего Марадону обратил внимание агент маленького футбольного клуба. Девятилетний оборвыш был принят в молодежную клубную команду. К этому моменту он уже пользовался известностью среди соседских ребят: никто не умел, как Марадона, жонглировать мячом, подолгу заставляя его плясать и подпрыгивать, не касаясь земли, никто не мог так ловко обвести противника и с ходу, без обработки, сильно и точно пробить по воротам. Один из популярнейших спортивных клубов Буэнос-Айреса, «Ривер Плейт», тоже обратил внимание на Диего. Вот тут-то и встает вопрос: почему из тысяч талантливых и трудолюбивых молодых футболистов Аргентины именно Диего Марадона превратился в суперзвезду?

Не только трудом и талантом и даже не счастливой случайностью объясняется превращение. В роли прекрасной феи выступил некий Джордж Цитершпилер — завсегдатай клуба «Ривер Плейт». Когда Марадоне предложили подписать контракт с «Аргентинос Хуниорс», Джордж Цитершпилер взял на себя «охрану его интересов».

События громоздились. В пятнадцать лет Марадона играл в первой лиге. В шестнадцать — национальная сборная страны. Неплохо для парнишки, который с грехом пополам одолел четыре класса начальной школы и едва научился читать и писать!

Цитершпилер понимал, каким плодоносным полем чудес является реклама. Одна только переброска Марадоны из любителей пепси-колы в приверженцы кока-колы принесла кругленькую сумму. А чего стоило фирме «Пума» (производство спорттоваров) уберечь знаменитого футболиста от покусительств конкурирующего предприятия «Адидас»! Раскроем маленький секрет: чтобы сохранить при себе Марадону, фирма «Пума» обязалась выплачивать ему долю от своих доходов. И теперь каждая пара спортивных туфель «Марадона-обувь» приносит фирме «Диего Армандо Марадона Продуссионс С. А.» по одной марке.

Между тем клуб «Аргентинос Хуниорс» разорился (Джордж Цитершпилер, разумеется, был достаточно предусмотрителен, чтобы ввиду высокой инфляции в Аргентине заключить контракт с клубом исключительно в долларах). Звезду перевели в соседний клуб «Бока Хуниорс». Операция обошлась в четыре миллиона долларов — за счет других игроков «Бока».

За два последних года стоимость аргентинского песо снизилась в семь раз, и клуб «Бока Хуниорс», естественно, тоже обанкротился. Вплоть до чемпионата мира Марадону (и Цитершпилера) содержала Аргентинская футбольная федерация. Затем он поступил в распоряжение известного испанского футбольного клуба «Барселона».

Марадона, этот чудо-игрок, постоянно вынужден доказывать, что сто́ит своих гонораров, снова и снова творить чудеса и совершать подвиги. Беспощадная гонка, шумиха и пересуды: «Оправдал — не оправдал».

Много раз пытался Марадона вырваться из заколдованного круга. Он бойкотировал тренировки, отказывался от участия в чемпионате мира, но любой его поступок прикосновением волшебной палочки Цитершпилера превращался в... золото!

— Если бы я мог выбирать между нормальной жизнью и футболом, я никогда бы не притронулся к мячу — так считает сам Диего Армандо Марадона.

Перевела с немецкого Г. ЛЕОНОВА

Главный редактор: А. А. НОДИЯ
Редакционная коллегия: В. А. АКСЕНОВ, В. Л. АРТЕМОВ, Я. Л. БОРОВОЙ, С. М. ГОЛЯКОВ, А. С. ГРАЧЕВ, Ю. А. ДЕРГАУСОВ, А. А. КАВЕРЗНЕВ, С. А. КАВТАРАДЗЕ, В. П. МОШНЯГА, Д. М. ПРОШУНИНА (зам. главного редактора), Б. А. СЕНЬКИН, В. Г. СИМОНОВ (ответственный секретарь)

Художественный редактор Е. А. Гричук
Оформление И. М. Неждановой
Технический редактор А. Т. Бугрова

Адрес редакции: 125015, Москва, ГСП, Новодмитровская ул., 5а. Телефон 285-89-78. Перепечатка материалов разрешается только со ссылкой на ежемесячник.

Сдано в набор 12.01.83. Подп. к печ. 18.02.83. А00031. Формат $84 \times 108^{1}/_{16}$. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 3,36. Уч.-изд. л. 5,4. Тираж 900 000 экз. Цена 35 коп. Заказ 2339.

Издательство и типография «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Сущевская ул., 21.

Индекс 70781
Цена 35 коп.



Фрагмент картины Рафаэля Санти «Мадонна делла Седиа».

МАТЕРИ ВЕЧНО В ПУТИ

Миливой СЛАВИЧЕК,
югославский поэт

Матери вечно в пути. Они путешествуют с нами,
по нашим дорогам и снам, всюду следуя за сыновьями,
от пуговицы до пуговицы на рубашке —
завтра, вчера и сегодня
и вечно они живут под небом, под солнцем сыновним.
Матери — это другие галактики, туманно мерцающие
в неизвестности, в дальней и тихой печали,
они пишут нам письма, которых нам никогда до конца
не понять.
Маленькие далекие матери, о которых мы иногда
вспоминаем,
о которых привыкли молчать.
А они нас всегда сравнивают с нами самими,
какими мы были,
они вечно в пути к какой-то таинственной сути
заветной,
по переулкам любви, не требующей ответной,
по дороге в мир — по дороге дорог — по вечной дороге
к своему
сыну — от надежды к надежде, от тревоги к тревоге —
во тьму.

МАМА

Расул ГАМЗАТОВ,
народный поэт Дагестана

По-русски «мама», по-грузински «нана»,
А по-аварски — ласково «бабá».
Из тысяч слов земли и океана
У этого — особая судьба.

Став первым словом в год наш
колыбельный,
Оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в час смертельный
Последним зовом становилось вдруг.

На это слово не ложатся тени,
И в тишине, наверно, потому
Слова другие, преклонив колени,
Желают исповедаться ему.

Родник, услугу оказав кувшину,
Лепечет это слово оттого,
Что вспоминает горную вершину —
Она прослыла матерью его.

И молния прорежет тучу снова,
И я услышу, за дождем следя,
Как, впитываясь в землю, это слово
Вызванивают капельки дождя.

Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя,
И, скрыв слезу при ясном свете дня,
«Не беспокойся,— маме говорю я,—
Все хорошо, родная, у меня».

Тревожится за сына постоянно
Святой любви великая раба.
По-русски «мама», по-грузински «нана»
И по-аварски — ласково «бабá».

МЕЧТА ЧЕРНОЙ МАТЕРИ

Марселино дос САНТОС,
мозамбикский поэт

Черная мама
Баюкает черного сына
И в голове ее черной
Под черными волосами
Хранятся чудесные грезы

Черная мама
Баюкает черного сына
Забывая
Что маис не дал урожая
Что вышли вчера орехи

Она грезит о мирах чудесных
Где ее сын пойдет в школу
В школу где учатся люди

Черная мама
Баюкает черного сына
Забывая
Что ее братья строят города
и поселки
Цементируют их своей кровью

Она грезит о мирах чудесных
Где ее сын побежит по дороге
По дороге где ходят люди

Черная мама
Баюкает черного сына
Постигая
Голос из далекой дали
Принесенный далеким ветром
Она грезит о мирах чудесных
Мирах чудесных
Где будет можно жить черному сыну